

[Polaris]

Алексей
БЕЖЕЦКИЙ



МУЗЕЙ
ВОСКОВЫХ
ФИГУР

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

CXIII



Salamandra P.V.V.

**Алексей
БЕЖЕЦКИЙ**

МУЗЕЙ ВОСКОВЫХ ФИГУР

Фантастические
рассказы

Salamandra P.V.V.

Бежецкий А. Н. (Маслов А. Н.)

Музей восковых фигур: Фантастические рассказы. – Б.м.: Salamandra P.V.V., 2015. – 147 с. – (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CXIII).

Таинственные сновидения, спиритические явления, астральные тела, восковые автоматы, колдовство и суккубы – таков мир фантастических рассказов А. Бежецкого. Под этим псевдонимом выступал в печати удостоенный многочисленных наград за храбрость военный инженер, генерал А. Н. Маслов (1852-1922). Многие рассказы Бежецкого переиздаются в настоящем издании впервые.

МУЗЕЙ ВОСКОВЫХ ФИГУР

Фантастические
рассказы

ЛАВКА НЕВИДИМОК

Вместо вступления

Волховской торопливо пообедал в ресторане, как бы стараясь скорее исполнить этот обычай благовоспитанных людей — есть каждый день в определенные часы, хотя и без всякого аппетита. Затем он спросил себе кофе и коньяку и, закулив папиросу, предался своим мечтам. Он сидел один за маленьким столиком, пил машинально маленькими глотками кофе, а тем временем в голове лениво, точно в дремоте, тянулись обрывки образов и мыслей, то ярких, то тусклых и расплывчатых, как дым от его папиросы. Эти мысли то возвращали его в прошлое, то вдруг мчались вперед, в будущее, и там и здесь сплетались в события, которые могли, но никогда не случались в его жизни.

Однако нельзя сидеть более известного времени за ресторанным столом. Надо было уходить. Он расплатился, надел пальто и направился к выходу... Куда идти?... До ночи еще далеко. В театр или в общество не тянуло. Попозже он обещался зайти к одному приятелю, жившему поблизости от него; но до этого оставалось еще довольно времени и, несмотря на скверную погоду, он решил пройтись пешком.

На улице таяло, и в клубях сырого тумана люди и экипажи казались черными тенями, слабо освещаемыми огнями уличных фонарей.

Шлепая калошами по мокрому тротуару и останавливаясь перед некоторыми витринами с рождественскими подарками и замысловатыми игрушками, он добрался до Пассажа, который был еще освещен. Когда-то в верхней галерее здесь помещался паноптикум, и Волховской пожалел, что его уже нет. Бывают минуты, когда эти галереи с безмолвными восковыми фигурами, панорамами и странными коллекциями если и не успокаивают, то рассеивают. Здесь и публика какая-то особенная, среди которой вы никогда

не встретите знакомого; и все почему-то молчат или говорят тихим голосом, хотя никто им не запрещает говорить громче. Таково странное влияние этих восковых лиц с застывшим выражением чувства и их стеклянных глаз, устремленных в одну точку...

Войдя в Пассаж, Волховской по рассеянности поднялся по одной из боковых лестниц и только здесь, заметив свою ошибку, ускорил шаг мимо ряда закрытых дверей, думая как-нибудь пробраться на противоположную сторону и там выйти на улицу.

Он уже довольно долго шел, как вдруг сбоку открылась одна из дверей и на него упала полоса света. Дверь была очень узкая. Из-за нее высунулась голова маленькой седой старухи с бледно-желтым лицом, которая уставила в него свои серые глаза и сказала:

— Войдите! А то мы уже закрываем..

Волховской почему-то заволновался...

— А у вас что? — спросил он.

— Разные редкости... Небывалые редкости... Зайдите же!

Он вошел в небольшую комнату. Старуха стояла уже за прилавком.

— Отчего же у вас нет никакой вывески?

— Нам не надо... Кто пожелает, тот придет и без вывески...

— Может быть, вы печатаете в объявлениях?

— Нет, не печатаем... Мы продаем без объявлений.... Кого судьба приведет, тому и продаем.... Да вы присядьте, пожалуйста, и курите, не стесняясь...

Он сел на единственный стул около прилавка и закурил...

— Как вы желаете: просто посмотреть что-нибудь или у вас есть какая-нибудь определенная цель?

— Да у вас совершенно пусто... Я ничего не вижу...

Действительно, кроме прилавка, конторки, узкого и уходявшего в потолок зеркала и стула, на котором он сидел, ничего не было в этой бесцветной комнате; ни шкафов, ни ящиков, ни полок. Песочные часы, единственный предмет,

стоявший на конторке, как будто усугубляли пустоту этого странного магазина.

Старуха улыбнулась до ушей, показав бледные, бескровные десны...

— Это вам только так кажется... Наши предметы нельзя держать на столах и выставлять за окнами... Но их всегда легко достать...

Старуха вытянула вперед свой острый подбородок и оперлась длинными пальцами обеих рук о прилавок.

— Многое у нас уже распродано, но я все же могу вам кое-что показать... Начну с пустяков... Их многие спрашивают...

И она зашла за конторку, откуда видны были только седые волосы и серые глаза.

— Вот, например, — и, протянув руку, сложенную горстью, она сделала вид, что что-то кладет на прилавок... — вот, например, образчики разных эликсиров: эликсир любви, эликсир красоты и другие. Это очень ходкий товар... А вот это вот, — продолжала старуха, как будто разглядывая что-то на свет между большим и указательным пальцами, — экстракты ненависти в маленьких шариках, величиной в маковое зерно. От одного такого шарика ненавистная вам особа умирает и врачи будут говорить, что пациент умер от вполне естественных, но неизвестных причин... А вот с помощью этой трубочки можно улавливать все движения души, ее радости и печали... Это отличное средство от зависти!.. Стоит только прислушаться к душе человека, которому вы завидуете, и вдруг окажется, что душа его страшно больна и несчастна... Не правда ли, интересная трубочка?

Вероятно, образчики эликсиров и трубочка были очень маленькие, потому что Волховской ничего не видел, кроме длинных пальцев старухи.

— Покажите мне что-нибудь покрупнее, — сказал он.

— То есть вы хотите сказать, что-нибудь поинтереснее? С удовольствием. Что, например, вы скажете об этом покрывале? Если вы его на себя набросите, то вас не будет видно... Вот взгляните, я набросила на вас покрывало и вы исчезли... Представьте, даже я вас теперь не вижу... И никто

вас не увидит... Подумайте, как это удобно!.. Но, с помощью вот этих очков, — она вынула что-то невидимое из кармана и надела себе на нос, — с помощью этих очков я уже имею возможность вас разглядеть... Теперь я вас вижу и снимаю с вас покрывало, чтобы вы не вздумали уйти с ним от меня... Оно очень ценное!.. Вообразите, что такого покрывала, как это, вы нигде не найдете, ни в Париже, ни в Лондоне, ни в Берлине, нигде, нигде... Старый араб, который мне его доставил, уверяет, что это работа феи миражей... А один немецкий поэт, напротив, уверял, что его соткали из лунных лучей какие-то особенные паучки... Оно удивительно легко!.. Никакого веса... Попробуйте!

Волховской нерешительно протянул вперед руки и, сделав вид, что что-то взвешивает, сказал:

— Вероятно, я или близорук, или здесь недостаточно светло, но я должен признаться, что я не совсем хорошо разглядел то, что вы мне показывали...

Старуха опять улыбнулась...

— Очень жаль, что вы не разглядели... А у меня много еще найдется такого, от чего голова может пойти кругом... Например, магические очки... Они из тончайшего и очень упругого стекла и в такой же тонкой оправе... Разбить их очень трудно, но если разобьешь, то поправить уже нельзя... Их делали гномы в глубоких горных пещерах... А кроме того, у нас правило: человек может приобрести себе пару таких очков только один раз в жизни, а починку мы на себя не принимаем... Мы продаем их почти исключительно молодым людям...

— Какие же это очки?

— Они двух сортов: одни вот такие, розовые; а другие — вот такие, черные... Если смотреть через розовые, то все кажется хорошо; везде радость, улыбка и блеск, и в настоящем и в будущем, хотя будущее-то, вы знаете, никому неизвестно. Но кто наденет черные очки, тот, понятно, и видит все в черном цвете, как бы другим ни было весело... Ему будущее уже не представляется заманчивым... Эти очки мы держим несколько номеров и на того, кто купит последний номер, иначе и не смотрим, как на человека, у

которого душа совершенно ослепла!.. Вы только полюбуйтесь, какая тонкая работа!

И старуха очень осторожно протянула вперед свои руки ладонями вверх, но на этих ладонях решительно ничего не было...

— Каков товар?

— Да, товар, действительно, удивительный, — ответил Волховской, безнадежно глядя на ее пустые ладони.

— У меня есть еще одна редкость, которая вам очень понравится... Вы об этом читали в сказках, но, вероятно, думали, что этого не существует...

И она сделала вид, что снимает что-то с пальца...

— Вот видите: на вид это самое простое кольцо; но это только так кажется... Стоит его повернуть на пальце, и вы сейчас же перенесетесь куда вам угодно... Но только свойство его такое: вы будете все видеть и слышать там, куда прилетите, но вас никто не увидит и не услышит...

— Если это так, то я не вижу толка в этом изобретении...

— Да; но когда вы вернетесь обратно, в обычную обстановку, вас опять будут видеть и слышать, и вы можете рассказывать о ваших приключениях...

— Все равно мне никто не поверит... Какой же прок тогда в вашем кольце?

— Вот видите, вы уже начинаете волноваться!.. Между тем, я далеко еще не все показала, что у нас есть... Вы, например, не поверите, что у нас в погребе сохранилось еще несколько бутылок мертвой и живой воды, о которых тоже упоминается только в старых сказках... Впрочем, эти воды не для вас: они очень сильны и годятся только для убитых героев. Но у нас есть еще другая вода, освежающая и очень приятная... Мы ее держим в особых кувшинах, запечатанных печатью Аполлона. Это вода из Кастальского источника, знаете, того, что протекает у подножия Парнаса и который называют также источником вдохновения?.. По преданию, эти кувшины наполняли сами музы... Не хотите ли испробовать?

— Я думаю, что не стоит вам беспокоиться, — шутливо отвечал Волховской. — Я столько выпил воды за свою жизнь,

что, вероятно, пробовал и вашу...

— Если пробовали не у нас, то это подделка... Наша вода играет, сверкает и переливается всеми цветами... Человек, ее отведавший, как будто молодеет и становится сильнее... Ему то холодно, то жарко; то безысходно грустно, то безумно весело... Но это опьянение скоро проходит... Если вы его испытали, то не могли забыть... Да позвольте, кажется, я вас уже видела?.. Вы когда-то к нам заходили... Но вы были тогда моложе и бодрее, а я была все такая же старая, как и теперь... Вы и тогда были очень разборчивы и капризны... Не можете ли припомнить, что я вам тогда продала?

— Не помню, чтобы я у вас был когда-нибудь...

Старуха опять улыбнулась.

— Так ли это? А вот я так почти уверена, что вы сюда заходили и только не хотите признаться, потому что, вероятно, не уплатили за отпущенный товар... Впрочем, вам тревожиться нечего: теперь все сроки уже прошли... Так на чем же вы остановились?.. Возьмите хоть что-нибудь, — продолжала старуха уже монотонным голосом торговли, — у меня есть омега-лучи для людей, занимающихся наукой; маски для старух, которые их заставляют воображать, что они помолодели; есть гадальные карты, которые сами раскладываются, когда вы их стасуете и положите на стол... Кости для игроков, которые всегда выбрасывают старший номер, и тому подобные глупости... А то не хотите ли...

— Постойте! Мало ли чего я хочу; но прежде, чем торговаться, надо видеть, что покупаешь... А я ровно ничего не вижу!.. Вы все время разводите по воздуху пустыми руками и называете мне предметы, которых у вас нет... Я вижу вас и совершенно пустую комнату и больше ничего...

— Неужели ничего?

— Решительно ничего!

— Очень жаль, что вы ничего не видите... — при этом старуха взглянула на песочные часы.

— А ведь лавку-то пора закрывать!.. Посмотрите: наверху осталось всего несколько песчинок для будущего; весь

песок уже в прошлом... Надеюсь, что вы это-то хоть видите?.. Итак, вы решительно ничего не хотите?

— Ну, если вы так упорно настаиваете, — сказал Волховской, — то я готов взять у вас что-нибудь... Например, нет ли у вас чего-нибудь от бессонницы?

— Гмм... Это, конечно, не наша специальность... Но думаю, что найду что-нибудь подходящее... Да вот, так как вы более тонкие предметы не видите, я вам могу прислать эти часы... Вы не беспокойтесь!.. Мы сами рассылает наш товар... Сегодня же ночью они будут в вашем доме, если хотите... А теперь извините: пора закрывать...

В комнате потемнело и стены точно затянуло туманом... Волховской тяжело поднялся со своего стула и повернулся в сторону двери, но ее там не было...

— Вот видите, вы даже забыли, откуда пришли, — сказала старуха, но ее уже было плохо видно за конторкой.

— А куда же идти?

— Вот сюда...

В боковой стене открылся проход, а зеркало блеснуло где-то в глубине. Он пошел по его направлению...

— Теперь направо; потом налево!

Он шел, подчиняясь голосу старухи, который по мере удаления ослабевал. Впереди его все время мелькал отблеск зеркала...

— Вот так; теперь все прямо!..

Голос уже звучал издалика...

Он очутился на улице. По-прежнему передвигались взад и вперед темные фигуры прохожих и свет фонарей тускло отражался сквозь туман на мокрой поверхности тротуаров... Магазины закрывались и становилось темно.

ЛИШНЯЯ КОМНАТА

В аукционном зале продавались интересные вещи, оставшиеся после смерти одного коллекционера. Среди этих вещей Нерехтин наметил себе старинные каминные часы с боем. По конструкции они напоминали старые английские часы, но были не продолговатые, а квадратные. Корпус часов был сделан из какого-то темно-малинового дерева, издававшего особый пряный запах. Сверху была привинчена небольшая сова из зеленой бронзы, а в углах передней доски, вместо обычных орнаментов, были вставлены магические бронзовые фигуры; на маленьком круге, над циферблатом, были начертаны астрологические знаки с мелкими надписями на каком-то восточном языке над каждым и покрыты эмалью разных цветов; наконец, сами часы на циферблате означены были двенадцатью знаками Зодиака. Механизм был в порядке и когда часы начинали звонить, то звуки как будто догоняли друг друга и сливались вместе в одну протяжную и странную мелодию. Впрочем, эта мелодия, как сказано было в каталоге, исполнялась не каждый час, а только в три, пять, семь и двенадцать часов, что и указывалось, кроме того, бронзовыми звездочками над знаками «Близнецов», «Льва», «Весов» и «Рыб»; остальные часы дня и ночи отбивались простыми ударами... Вообще музыка соответствовала архитектуре часов...

Знакомая дама, севшая случайно рядом с Нерехтиным, пыталась его отговорить от покупки. «Не понимаю, что вам за охота покупать эти часы? Я бы швырнула их в голову тому, кто бы вздумал мне поднести эту гадость! И на что они вам? Они некрасивы и слишком громко звонят... Кроме того, у вас маленькая квартира и вам негде их даже поставить... А главное — они так странно пахнут... Это верная головная боль, поверьте мне!...»

Тем не менее, Нерехтин не отказался от своего намерения.

В тот день, когда часы были назначены к продаже, охотников до них оказалось не особенно много.

Конкуренты надбавляли слабо и скоро отстали. Пристав уже поднял молоток, чтобы ударить третий раз, и часы должны были остаться за Нерехтиным, как вдруг кто-то за его спиной неожиданно надбавил сразу двадцать рублей... Нерехтин невольно обернулся и увидел старого, худого еврея в черном потертом сюртуке; его бескровное лицо со всклокоченной рыжей бородой изобличало большое волнение; острые синие глаза беспокойно перебегали с часов на пристава и обратно, а пальцы правой руки безотчетно забарабанили по спинке стула. Видя, что дело принимает неудачный оборот и что цену теперь, вероятно, начнут взвинчивать, Нерехтин с досадой вскочил и направился к выходу.

Он уже был на полдороге, как до него донеслись слова пристава: «Второй раз — триста пятьдесят два рубля семьдесят копеек... Никто не желает?» Нерехтин обернулся... Пристав взглянул ему в глаза и, поднимая молоток, начал: «Третий раз...» «Не уступай!» — шепнул какой-то внутренний голос... «Ведь таких странных часов я нигде не видел», — промелькнуло в его голове, и он неожиданно для самого себя крикнул: «Пятьдесят рублей!» Старый еврей взглянул на него с испугом и злобой, хотел что-то сказать, закашлялся и, побежав в глубину зала, стал о чем-то поспешно переговариваться с какой-то женщиной... Тем временем молоток ударил третий раз, и еврей не успел вернуться, как часы остались за Нерехтиным.

Таким образом, ожидаемой борьбы не произошло, и желаемая вещь досталась ему сравнительно легко. Он даже испытал некоторое разочарование и когда, расплатившись, подошел к часам, то они показались ему какими-то неуклюжими, вообще менее интересными, чем с первого раза. Поручив артельщику доставить их ему на дом в тот же день, он вышел из аукционного зала... Он уже надевал пальто, когда к нему подскочил его соперник-еврей и, с бумажником в руках, стал настойчиво спрашивать.

— Господин, уступите нам часы!.. На что они вам? Это совсем старые, ненужные вам часы...

— Так зачем же вы просите вас их уступить?..

Не отвечая на вопрос, еврей продолжал:

— Они вам совсем не нужны... Вам же говорила ваша знакомая, что они некрасивы и слишком звонко звонят... Я сам слышал, извините, как она говорила, что у вас квартира маленькая и поставить вам их некуда... Для этих часов нужна лишняя комната, да и какая комната!

Нерехтин прервал его резким отказом.

— Ну, хорошо, — сказал еврей, глубоко вздохнув, — вам теперь хочется их поддержать... Ну что ж, поддержите; но если раздумаете, то очень прошу вас уступить нам; мы цену дадим, хорошую цену... Я три дня буду здесь на аукционе... Когда передумаете, приходите сюда...

Нерехтин все-таки не уступил и ушел.

Целый день он провел вне дома и вернулся к себе уже незадолго до полуночи.

Часы стояли на столе в передней. Лакей ему доложил, что их принес артельщик, что пока они поставлены здесь и что, по мнению артельщика, следовало бы купить для них и особый кронштейн.

Часы тикали, и бронзовая сова недружелюбно смотрела своими большими глазами.

— А кто их завел?—спросил Нерехтин.

Лакей отвечал, что вместе с артельщиком приходил какой-то еврей и, объяснив, что он часовщик из аукциона и что барин его знает, в его присутствии завел часы и тотчас же удалился. Сделав резкий выговор лакею за то, что он пустил в дом постороннего, Нерехтин опять стал рассматривать свою покупку, и чем более смотрел, тем более она становилась ему антипатичной. Станный пряный запах дерева ему был противен, а кроме того, часы показались ему слишком большими сравнительно с тем, как они представлялись ему на аукционе, хотя не было сомнения, что это были те самые часы; ему припомнились слова старого еврея: «для этих часов нужна лишняя комната...»

«Ну, ничего; завтра разберемся, что с ними сделать», —

решил Нерехтин и перешел в кабинет, где лакей подал ему чай... Прошло немного времени, и вдруг в передней раздалось что-то в роде короткого жужжания, а затем зазвенела странная музыка колокольчиков, совершенно не похожая на те обычные старые мелодии, которые мы привыкли слышать в старинных курантах, наивно нежные и такие же робкие, как лесной ручеек. Эта мелодия, наоборот, была хотя и оригинальна, но неприятна для слуха; она то затихала, так что едва было слышно, то вдруг неожиданно усиливалась, причем в общий ансамбль вдруг вступал какой-то колокольчик с густым мрачным звуком.

Нерехтин перестал читать и сидел не шевелясь, ожидая конца; лакей тоже остановился с пустым стаканом в руках и не знал, что ему делать, пока звон не прекратился. «Вот так музыка! Точно кота хоронят», — заметил он, не зная, как выразить свое чувство.

На Нерехтина эта музыка тоже произвела неприятное впечатление, но, не желая ему поддаваться, он выпил еще стакан чаю, просмотрел газету и затем уже улегся спать... Засыпая, он все-таки вспомнил о часах, и ему ясно представился квадратный ящик с глядящей на него совой. И чем более он на них смотрел, тем явственнее доносились удары маятника; они, казалось, следовали один за другим, все скорее и скорее, как будто напоминая, что с каждым ударом он приближается к чему-то роковому и таким образом... незаметно заснул.

Во сне он видел что-то неопределенное и неприятное; казалось, что он несется в каком-то пространстве, но в каком направлении — определить не может, кажется только, что несется все скорее и скорее; у него начинает захватывать дух, хочется остановиться, а не может, и чем более желает остановиться, тем движение становится стремительнее; наконец, он сделал над собой страшное усилие и пробудился, задыхаясь от тяжелого, пряного запаха... Сердце усиленно билось и плохо заправленная лампадка чуть мерцала, слабо освещая небольшой круг на потолке.

В ночной тишине все звуки стали явственны: треск дерева, шелест обоев, стук с улицы...

И вдруг ему почудились чьи-то осторожные шаги в одной из соседних комнат. «Кто тут?» — спросил он, но никто ему не отвечал. Он хотел вскочить, но не мог оторвать голову от подушки, точно чья-то рука надавливала на грудь... Но вот опять что-то закопошилось, как будто чьи-то пальцы забарабанили по деревянному ящику, как будто кто-то глубоко вздохнул, и на этот раз Нерехтин не выдержал, нажал кнопку звонка и сел в постели... Лакей, однако, не проснулся, а вместо него из передней отозвались часы... Тоскливо раздавалась в тишине глубокой ночи странная песня часов и в этой песне было что-то безотрадное и жуткое, и, точно замороженный ею, Нерехтин сидел, не шелохнувшись, пока она не закончилась... Она навела на него такую тоску, что, смутно вспомнив, что через два часа часы опять заиграют, он решил их остановить, и так как лакей, очевидно, не слышал его зова, то он сам направился через кабинет в переднюю. Не желая поддаваться страху, он шел без свечи, при слабом свете, пробивавшемся от уличных фонарей. Голова у него была тяжелая, и ему казалось, что он все еще не проснулся. Незаметно вместо передней он попал в другую комнату, тоже освещенную настолько, что можно было кое-что разглядеть. Комната эта была пустая; ее темно-серые стены, как будто затянутые паутиной, трудно было различить; их присутствие скорее угадывалось по углам, которые казались еще темнее. Из глубины выдвигалось что-то белое, вроде камина, с четырехугольным пятном посредине, откуда доносились тихие удары маятника...

«Что такое?» — подумал Нерехтин, оглядываясь в недоумении и стараясь стряхнуть с себя сонное оцепенение... — «Кто их сюда принес? Ведь это не передняя... Сзади у меня должен быть кабинет, а затем спальня... Значит, это столовая? Но как же я сюда попал, минуя переднюю? Но это совсем не столовая; ничего похожего; это другая комната... Это “лишняя” комната!! Откуда же она?!»

И, мучительно сосредотачиваясь на вопросе, что у него находится в этой комнате, чтобы по этим приметам припомнить, где он, он вдруг ясно вспоминает, что у него такой комнаты нет и что, значит, он спит, и как только является

эта мысль, его охватывает холодный страх; он во что бы то ни стало старается проснуться, но не может, а между тем он слышит шлепанье босых ног по полу, как будто кто-то подкрадывается все ближе и ближе; какая-то сила его толкает вперед, в объятия страха; он бросается назад, туда, откуда пришел, пробегает что-то вроде передней и опять попадает в ту же лишнюю комнату, а шаги все приближаются и приближаются; это повторяется три, четыре раза, много раз; он измучился и чувствует, что заблудился, а ужасное продолжает надвигаться и уже захватывает в свои холодные объятия, но тут он собирается с последними силами, вспоминает какое-то священное слово, отскакивает назад, отчаянно прорывается сквозь стену «лишней» комнаты и спасается в «жизнь»... Наконец он вздыхает с облегчением, открывает глаза и видит, что он опять лежит в своей кровати, и утренний свет пробивается в окно его спальни... Явившийся на звонок лакей докладывает, что часы в исправности и по-прежнему стоят в передней, но что они ему не давали спать и что глубокой ночью кто-то стучался к нему в дверь, и когда он спросил «кто там», то никто не ответил.

Между тем, день наступил и впечатление ночного кошмара быстро ослабело, как будто испарилось...

Нерехтин завтракал у своего старого приятеля, графа Р*, и за чашкой кофе рассказал ему про свою покупку. Граф был человек с большими странностями, любитель старинных вещей и заинтересовался редкими часами, а когда Нерехтин рассказал ему про свое ночное приключение, то любопытство его возросло до последней степени. Он попросил позволения немедленно же послать за часами и, когда их принесли, тотчас внимательно стал их рассматривать, сопровождая свой обзор соответствующими объяснениями.

— Это дерево — сказал он, присматриваясь, — не могу сейчас припомнить его названия, — попадаете в старинных гробницах. Это что-то вроде кипариса, но возможно, что это другое дерево, пропитанное особыми смолистыми маслами, предохраняющими не только от гниения, но и от

посягательств непосвященных... Запах этот ядовит и опасен... Эти надписи по обводу малого круга сделаны на древнееврейском языке (я их потом разберу), а непонятные для вас значки на том же круге суть ни более, ни менее, как употребляемые астрологами двенадцать «домов» человеческой жизни или гороскопа. Из них четыре, самые главные, так называемые знаки северного, южного, восточного, западного угла, относятся к первой трети человеческой жизни и потому отмечены красной эмалью; следующие четыре, белой эмали, соответствуют середине жизни; они уже менее влияют на судьбу; наконец, третья четверка, касающаяся конца жизни, имеет наислабейшее влияние и поэтому отмечена черным.

— Магические пентаграммы по углам, — продолжал граф, — все имеют угрожающие начертания и вносят вместе с вещью в дом, где она находится, опасность и горе... Нужны особые знания, чтобы их обезвредить... Я еще не вполне отдаю себе отчет во всем, но мне кажется, что музыка этих курантов тоже не может быть полезна для непосвященных, в особенности, когда она раздастся ночью, до рассвета... Ясно, что вы с этими курантами наделали себе хлопот... Старый жид, без сомнения, знает их значение и высоко их ценит. Возможно, что ими пользовались на своих ночных собраниях еврейские каббалисты, подобно тому, как древние жрецы пользовались для своих наук освященными песочными часами. Наконец, сова — это, можно сказать, эмблема мудрости, прозревающая во мраке невежества тайны природы. Как могли попасть эти часы на аукцион, не могу понять?!. Что касается вашего ночного приключения, которое вы объясняете кошмаром, то я думаю, что это не так-то просто... Ваш еврей, очевидно, сведущ в магии и, решившись вас напугать, особыми вольтами старался разъединить ваш дух с телом и вывел его куда-то вне нашего пространства, в астральный план, и там подверг вас мучениям... Что-то помешало ему окончательно погубить вас. Так или иначе, верите ли вы в мои объяснения, или нет, это мне все равно; важно то, что часы эти вам пришлось не по вкусу... Поэтому, прошу вас, уступите их мне, хотя бы

условно, а я вам дам отличные и самые невинные английские часы, которые будут вам наигрывать гавоты и пасторели.

— Что же вы будете делать с этими часами? — спросил Нерехтин.

— А я их изучу, и мы еще поборемся с евреем. Посмотрим, заставит ли он меня идти в его лишнюю комнату!.. Вы говорите, что они заведены? Вот и прекрасно. Я их поставлю на ночь в свою спальню. А завтра приходите за новостями. Это даже забавно.

— К сожалению, я сегодня вечером уезжаю на праздники в деревню и вернусь только через две недели.

— Ну, тогда я вам напишу, если хотите.

Нерехтин согласился и спросил, как же ему быть с евреем.

— Не все ли вам равно? Ведь вы ему ничего не обещали? Скажите, что вы уступили часы мне, а уж я с ним поговорю.

Уходя от графа, Нерехтин почувствовал большое облегчение и вечером в отличном настроении духа сел в вагон скорого поезда... За несколько дней пребывания в деревне он успел забыть свое мимолетное приключение с часами, предполагая, что этим все и кончилось... Каково же было его удивление, когда, распечатав только что полученный из Петербурга номер газеты, он прочел извещение о том, что граф Р* скончался скоропостижно у себя в квартире в ночь на Рождество... На следующий же день он получил письмо от графа, очевидно, написанное им за несколько часов до смерти. В письме было всего несколько строк: «Спешу вам сообщить, что сегодня провел ночь, пожалуй, похуже вашего. Вы бы не перенесли... Приходил еврей, но я его прогнал... Стараюсь во что бы то ни стало разгадать секрет проклятых часов. Завтра напишу подробнее».

Впоследствии Нерехтин узнал, что после смерти графа в его квартире, между прочим, были похищены редкие старинные часы...

РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО

Барон Хоккер был большой любитель старинных вещей и старинной литературы, не пренебрегал философией, а последнее время начал интересоваться и тайными науками, объясняя это не столько желанием не отставать от модных течений, сколько тем, что оккультизм являлся последним, недостающим звеном в цепи интересовавших его знаний.

Таким образом, в его библиотеке прибавился новый шкаф, в котором была собрана довольно интересная коллекция сочинений по оккультным наукам, по теософии и психофизиологии: здесь имелся также и адский словарь, старательно составленный каким-то чудаком-французом. Кроме классических Корнелия Агриппы и Якова Бехме, тут были и полуклассический Элифас Леви с его «великим арканом» и исследование Гуайта «О проклятых науках»; наконец, не был забыт и современный нам профессор Папюс с его трактатами каббалы и практической магии...

Не буду утверждать, что барон Хоккер был так же учен, как и его книги, не скажу также, чтобы он был очень остроумен, но благодаря деликатному обращению, приветливости и известной немецкой настойчивости, он сумел привлечь в свой дом небольшое, но интересное общество, и я с удовольствием посещал его вечера, на которых за чашкой чая или за стаканом хорошего вина незаметно пролетало время в беседах на разнообразные темы.

Последнее время к нашей компании присоединился один артиллерийский капитан, по фамилии Гейст, рекомендованный нам, как известный оккультист; про него даже говорили, что он побывал и на Востоке — и получил там, при посвящении в маги, какое-то особенное имя... Его объяснение разницы между восточным и западным оккультизмом и превосходства первого над последним нам показалось довольно запутанным, и мы поняли только, что восточный — основывался на чистоте тела и помыслов, на созерцании, самозабвении, а западный, главным образом, на внеш-

нем ритуале. Никто из нас, однако, не желал серьезно углубляться в тайные науки. На это у нас не хватало ни настоящего призвания, ни терпения, но тем не менее мы не без удовольствия слушали иногда рассуждения барона или рассказы Гейста об оккультных явлениях.

Люди, даже образованные и серьезные, любят иногда раздражать свои нервы разговорами о небывалом, о невозможном, о великом таинстве смерти и тому подобном, и бродят в своих рассуждениях и догадках, как в густом лесу в темную беззвездную ночь.

Следует, однако, признать, что благодаря появлению между нами убежденного оккультиста, мы стали слишком пренебрегать обычными беседами об искусстве и положительных науках и, если можно так выразиться, центр тяжести постепенно переместился в отрицательную сторону; барон как будто перестал направлять наши мысли и вкусы и таким образом равновесие было нарушено. Все более или менее расстроили свои нервы нездоровыми беседами и расходились уже не спокойными и добродушными, как это бывало прежде, а душевно утомленными и растревоженными...

С окончанием весеннего сезона, барон уехал за границу и вернулся оттуда только поздно осенью. Таким образом, мы собрались у него опять только зимой, в декабре месяце...

На этот раз вечер начался очень интересно. Разговор шел о путешествиях, и барон поделился с нами своими впечатлениями. Говорили и об удобствах заграничной жизни, и о неожиданных случайностях, которые встречаются в пути, и о новых течениях в литературе, о театрах и артистах, и каждый вставлял свои замечания. Один только Нерехтин, обыкновенно живой и отзывчивый, не принимал участия в беседе и, сидя в темном углу, задумчиво смотрел на стоявший перед ним стакан с вином.

— Вы что-то сегодня не в духе, — заметил ему барон. — Здоровы ли вы? У вас был бодрее вид прошлой весной, когда мы расстались... Вы, вероятно, все лето просидели в Петербурге?

— Нет, — ответил Нерехтин, — я так же путешествовал, как и вы... Лето я провел очень хорошо в деревне, а затем был в Бретани и под конец целую неделю в Париже... Я даже побывал в «Casino de Paris», о котором вы между прочим упоминали, и видел там восточную танцовщицу, красотой и танцами которой вы так восхищались...

— Так в чем же дело?

— Да дело, в сущности говоря, никакого нет, но я вспомнил «Casino de Paris» потому, что оттуда, по странной случайности, начинается «то», что вы приняли за нездоровье...

— Очень жаль, что мы там не встретились... Я имел возможность познакомиться с этой волшебной танцовщицей и, конечно, если бы знал, что вы так увлеклись ею, то непременно бы вам помог...

— Дело вовсе не в ней, барон, а в чем-то очень странном и непонятном... Но я думаю, что это неинтересно?

— Уж это вы предоставьте нам судить... Напротив, мы с нетерпением желаем узнать, в чем заключалось ваше приключение.

— Мне, конечно, очень понравилась эта танцовщица и я, вероятно, не отказался бы с ней познакомиться, если бы мы там встретились... Но дело в том, что перед отъездом за границу я серьезно увлекся одной особой, с которой познакомился в деревне и имя которой позвольте не называть, — настолько серьезно, что мы почти дали друг другу обещание. Ваша танцовщица, которую я видел только на сцене, конечно, не могла изгладить из моей памяти эту девушку. Да и в «Casino de Paris» я поехал довольно неохотно. Меня туда затащил один парижский приятель после обеда, на котором мы порядочно выпили. Первое впечатление было даже неприятное; вы помните этот грязный, закуренный зал и его более чем смешанную публику. Первые нумера на сцене были тоже очень слабые. Только ваша обольстительница сразу изменила настроение... В антракте я стоял в кулуаре, ожидая продолжения ее удивительных мимических сцен, и вдруг услышал чей-то резкий женский голос, приглашавший желающих погладить.

— Пойдите, попытайте вашу судьбу, — сказал мне мой спутник.

Так как я любил и был в разлуке с предметом моей любви, то охотно согласился попытать свое будущее, прошедшее и настоящее. Мы идем гадать обыкновенно ради шутки и смеха, а в душе все-таки думаем: «а что-то из этого выйдет?»

Оказывается, что гадалка помещалась вблизи, за занавеской, около кулис, в небольшой комнатке, обтянутой восточными материями. Она оказалась особой неопределенных лет и среднего роста, нарумяненная, с фальшивыми локонами и с большой бриллиантовой брошью на груди. В руках она держала кружевной платок, надушенный какими-то особенными крепкими духами, чем-то вроде смеси вербены с ладаном, а около нее на небольшом столе лежала колода больших карт с нарисованными на них фигурами и магическими знаками, большей частью не имеющими смысла, достаточно замусоленных и которые обыкновенно употребляются западными профессиональными гадалками.

Когда я ее спросил, что это за карты, она ответила: «Ce sont les Tarots des Bohémiens, monsieur...»*

— Вы напрасно думаете, мой друг, что знаки на картах не имеют смысла, — перебил Гейст. — Таро очень серьезное гаданье. Оно имеет древнее происхождение. Западные оккультисты приписывают его происхождение египетским магам, а мы — северным индусам... Гадалки пользуются, конечно, не полным Таро, а только картами, которые делятся на четыре группы, по четырнадцать в каждой (десяток Пифагора), отмеченные особыми знаками: первая группа — жезлом (трефы), вторая — кубком (черви), третья — шпагой (пики) и четвертая — монетой (бубны). Кроме того, на картах имеются особые эмблематические фигуры, а иногда помещаются и имена солнца, луны и пяти влиятельнейших планет.

* Это цыганские карты Таро, месье (*фр.*).

— Комнатка, — продолжал Нерехтин, — освещалась откуда-то сверху небольшим будуарным фонарем красного цвета. Кроме стола и двух стульев, в ней ничего не было. Виноват, было еще что-то вроде маленького круглого столика на высокой ножке, на которой стояло небольшое овальное зеркало, но так как оно было в темной оправе, то первое время я на него и не обратил внимания.

— Гм... напрасно, — заметил Гейст, — зеркало — это предмет серьезный...

— Несмотря на банальную обстановку и ярмарочное зазывание, во всем остальном m-me Эстер — так звали гадалку — была на высоте призвания и добросовестно исполнила все, что от нее требовалось. Она даже как будто немного обиделась, когда я несколько небрежно и слегка насмешливым тоном сказал ей: «Ну, что вы мне скажете за два франка?» Она внимательно осмотрела мои руки, сначала одну, потом другую, заметила, что я очень странный субъект и что она редко сталкивалась с подобной судьбой в своей практике. Когда же она разложила карты, предварительно заставив меня снять левой рукой, то удивление ее еще больше увеличилось.

— Вы любите, но полюбите еще другую, которая будет стараться помешать вашему счастью с первой; вы будете искать друг друга, но какое-то очень странное препятствие, которое я объяснить не могу, будет мешать вашему сближению... *Serpendant**, — продолжала она, водя пальцами по картам, — вы совсем близки друг к другу... А если вот так переложить, то вы, наоборот, так далеки один от другого, как будто кого-нибудь из вас нет в живых... Между тем, ни около вас, ни около нее нет знака смерти... Просто не знаю, что сделалось с картами?!

На мой вопрос, кто она, — эта неизвестная мне особа, Эстер, продолжая делать какие-то манипуляции с картами, отвечала, что «она», конечно, женщина, но «когда, например, я выбрасываю карты попарно, по своему способу, то ни одной дамы около вас не остается... Вы видите, этой

* Здесь: в то же время (*фр.*).

особы здесь нет... А между тем, новая любовь!.. Ее следует остерегаться, но как? — карты не говорят!.. И это все, monsieur», — прибавила она, вставая... — «Впрочем, потрудитесь еще взглянуть в это зеркало... Иногда в зеркале лучше разглядеть некоторые черты, чем прямо... Довольно; благодарю вас!.. Ничего не могу сказать более»... И когда я выходил, то она дважды повторила мне вслед: «Странно... Очень странно...» Хотя гаданье французской колдуньи и напомнило мне по форме запутанные предсказания древних оракулов, но оно не оставило во мне глубокого впечатления, и те несколько дней, что я провел после того в Париже, я о нем, конечно, и не вспоминал.

— Начало вашей истории,—сказал барон, — не лишено интереса... Желательно знать, что же произошло дальше?

— Дальше, не знаю, надо ли и продолжать? Далее все произошло и происходит уже не в этой области или, вернее, не в этом мире...

При этом мы все невольно переглянулись с недоумением...

— В каком же мире? — спросил барон.

— В «мире снов»...

— Ну, это продолжение как будто не соответствует началу, — несколько разочарованно сказал барон, — мало ли что может присниться!.. Хотя, конечно, и сны иногда бывают вещи...

По этому поводу между некоторыми из присутствовавших завязался небольшой спор.

— По-моему, — сказал поэт Темницкий, — сон есть вторая жизнь человека, законы которой еще не исследованы. Подумайте только, что целую треть нашего земного существования мы спим. При этом во сне происходят иногда такие вещи, которые решительно ничего общего не имеют с тем, что с нами было наяву... Где же находится тот мир, в который вас переносит сон? Быть может, близко, а может быть, в недостижимом наяву расстоянии от вас... И все предметы и лица, наполняющие мир снов, действуют, если можно так выразиться, по особым законам природы... Не-

даром у древних существовал могучий и загадочный бог сна...

— Не желая оспаривать вас, — сказал барон, — замечу, однако, что между миром действительной жизни и миром, где царствует ваш бог сна, существует непроходимая пропасть, через которую можно перебросить только один мост, всем известный, — пробуждение... Раз вы его перешли, все кончено: этот мост проваливается в пропасть. В конце концов, эта наша фантазия прогуливается в призрачном царстве Морфея, а тело преспокойно лежит в кровати...

— То, что вы говорили, барон, — вмешался Гейст, — касается все того же тела, т. е. нашей материальной жизни... Но, кроме тела, есть еще нечто другое, для которого не существует препон... По нашему учению, человек, кроме тела и духа, обладает еще астралом, с которым и происходят разные приключения, независимо от нашей телесной оболочки... Но я не буду об этом распространяться, так как (не знаю, как другие) очень интересуюсь дальнейшим, т. е. тем, что произошло с Нерехтиным во сне.

— Я вернулся в Петербург, — продолжал Нерехтин, — поздней осенью и вскоре по приезде получил письмо от особы, о которой я вам упоминал, с извещением, что она скоро приедет с семьей в Петербург. Странное дело: вместо того, чтобы обрадоваться, я вдруг впал в какую-то беспричинную меланхолию. Чтобы рассеяться, я отправился в какой-то театр и вернулся домой довольно поздно, написал письмо и лег спать... Я вообще не боюсь спать в темноте, но на этот раз мне почему-то стало жутко и я оставил гореть одну лампочку, набросив на нее красный шелковый платок. Я долго не мог заснуть и старался думать о своем одиночестве и что уже ради этого следует жениться.

Затем я глубоко заснул, и вот вижу, будто я нахожусь в какой-то полуосвещенной комнате, вроде обширной передней. Около внутренней деревянной лестницы, ведущей куда-то наверх, в кресле сидит женщина в темном платье. Когда я вошел, она подняла на меня глаза и горько заплакала. Она была еще молода, но скорее некрасива, и тем не менее мне стало жаль ее. Я начал ее утешать; ей, видимо, это

было приятно, но она продолжала плакать и в чем-то меня упрекать. Я никогда ее не видел, ни во сне, ни наяву, и поэтому спросил: «кто она и отчего она плачет?» Она с удивлением на меня посмотрела и стала что-то говорить, как будто одно и то же, но я ничего не мог расслышать и только видел, как шевелятся ее губы... Так я простоял около нее довольно долго, как вдруг на лестнице раздались тяжелые шаги... Тогда она вскочила и хотела схватить меня за руки, как бы ища моей защиты, но в этот момент что-то толкнуло меня в грудь, и я проснулся... Оказалось, что это разбудила меня моя собака, вскочившая неожиданно ко мне на кровать. Сон, как видите, с внешней стороны был совершенно неинтересен и он произвел на меня впечатление только потому, что все это я видел так же отчетливо, как наяву... Через неделю повторилось почти то же самое, и я опять увидел «ее» в той же обстановке, но на этот раз она уже меня держала за руки, и мне казалось, что мы с ней связаны чем-то очень важным...

Я забыл сказать, что в тот момент, когда я засыпал, мне казалось, что пахнет теми самыми крепкими духами, которыми был надушен платок гадалыцы. И вот, в третий раз, засыпая, я ощутил по обыкновению знакомый запах, но на этот раз он мне показался до крайности приятен, и я сам стал искать «ее» в царстве сна. Искал я эту «женщину» довольно долго, с трепещущим от необъяснимого волнения сердцем и, наконец, нашел в какой-то фантастической обстановке; она была в легкой воздушной одежде, и все в ней казалось прекрасно и пленительно, хотя я не могу сказать, что в ней было прекрасно, так как в сущности она была, как я уже говорил, скорее некрасива... Помню только, что от нее веяло удивительной свежестью, и кожа у нее была ослепительной белизны и нежная, как ткани, в которые облакаются небесные Пери. Когда я обнял ее в восторженном порыве, она засмеялась беззвучным смехом, в глазах ее блеснула радость и она торжествующе прильнула своими губами к моим губам и... от этого поцелуя я едва не задохся и проснулся с сильно бьющимся сердцем. Голова была у меня тяжелая, точно я целую ночь предавался кутежу.

Я всячески старался освободиться от впечатлений этого странного кошмара и нарочно долго гулял по улицам и по набережной. На другой день приехала моя невеста. Хотя я и обрадовался ее приезду, но она все-таки сразу заметила во мне какую-то перемену, рассеянность, в которую я впадал, в особенности по вечерам, и я видел, что мое состояние ее огорчает. Она даже советовала мне обратиться к врачу, но я не хотел признавать себя больным и силой воли пытался сбросить с себя это настроение, старался веселиться и не думать ни о чем. Но когда наступила седьмая ночь, я стал впадать в какое-то безвольное состояние и почувствовал, что меня опять тянет туда, к «ней»... Я уже вам упомянул про мою собаку... Это прелестный черный кинг-чарльз, с огненными глазами. В этот вечер Капи — так зовут мою собачку — ни за что не хотел укладываться в свою корзинку и все время слонялся из комнаты в комнату, как будто ища что-то такое, а когда я сам лег в постель, то вдруг стал выражать беспокойство, потом подбежал к открытым дверям, насторожился и стал тревожно лаять в пустую комнату, то делая прыжки вперед, то пятясь назад перед каким-то воображаемым врагом... Когда я, наконец, на него прикрикнул, то он неохотно пошел в корзинку, но и там продолжал ворчать... Между тем, проклятый запах знакомых духов коснулся моего обоняния, и я быстро стал уноситься в область сна... Какой-то тайный голос старался предостеречь меня, чтобы я уходил от «нее» (вероятно, это Капи не переставал ворчать), но я забыл все и начал опять поддаваться обаянию ее ласки. Однако, на этот раз в ее глазах вместо радости было что-то серьезное и сосредоточенное... Я помню, что среди окружавших нас предметов было небольшое овальное зеркало. Поднеся его к моему лицу, она хотела, чтобы я непременно в него взглянул. Тогда я сразу вспомнил парижскую гадалку, понял, что я сплю, и решил проснуться, но она догадалась, что я хочу «проснуться», и стала меня с каким-то отчаянием торопить непременно взглянуть в зеркало... Лицо ее исказилось злобой, и побелевшие губы бормотали страшные угрозы...

Сначала в зеркале не отразилось никакого лица, но я чувствовал, что еще мгновение — и со мной случится что-то ужасное, и вдруг вспомнил какую-то молитву... Тогда она начала тревожно грозить мне пальцем, предостерегать от чего-то и вглядываться вдаль, потом как-то расплылась и исчезла... и я опять проснулся от звона разбившегося стекла...

Около моей постели стояла собака и, с довольным видом помахивая хвостом, смотрела мне в глаза. Чем она была довольна, я не знаю, так как в то время, как я спал, она умудрилась уронить на пол небольшое овальное зеркало, лежавшее на туалетном столике, которое и разбилось на мелкие куски.

Нерехтин остановился на минуту, подумал и затем прибавил:

— Вот пока и все, что со мной случилось... Я, однако, предупреждал, что вряд ли это будет для вас интересно? Впрочем, могу еще прибавить, что вот уже более двух недель, как «она» больше ко мне не является. Во мне борются два чувства: с одной стороны, при одной мысли о возможности повторения этого сна, меня охватывает ужас; с другой, по странному противоречию, у меня иногда является желание ее увидеть; тогда я начинаю ощущать противный аромат и делаю все, чтобы не поддаться странному очарованию...

— Ваш рассказ, — сказал барон, — похож на какой-то сложный кошмар. Очевидно, гаданье произвело на вас более сильное впечатление, чем вы говорили, или... быть может, сама гадалка затронула ваше сердце?

— Я даже не помню ее лица...

— А я нахожу, — сказал Гейст, — что мы здесь имеем дело с очень характерным оккультным случаем. Гадалка Эстер, очевидно, была недовольна вашим насмешливым отношением к ее искусству и незаметно произвела над вами энвольтование. Ароматы при этом играли большую роль, и каждый имел свое значение; вербена есть цветок любви, а ладан в известных случаях означает смерть. Колдуны и гадалки, эти, как мы их называем, «обезьяны» истинных

магов, могут принести иногда большой вред. Зеркало, в которое она заставила вас взглянуть, было не простое, а магическое... Очевидно, у нее были недобрые намерения; через зрение можно так же отравить, как и через вкус и обоняние. Та же «женщина», которая вас старалась во сне завлечь в свои сети, очевидно, «ларва».

— А что такое ларва?

— Это, по несколько запутанному объяснению Гуайта, существо фантастическое и бессвязное, хотя и реальное, но живущее жизнью других. Они иногда порождаются самими людьми, их дурными делами и чувствами, их злобой и распутством, и тогда они привязываются к тем, кто их породил. Ваша ларва имела намерение выманить ваш астрал и овладеть вашим материальным телом. Счастье ваше, что вы не увидели вашего отражения в том зеркале, которое она вам подносила! Ваш астрал там бы так и остался и тогда вы вдвойне бы умерли... Что же касается вашей собаки, то этот вернейший и благороднейший друг человека обладает способностью видеть угрожающих нам ларв и предупреждает о них своего господина... На ваше счастье, на святках я еду по одному делу в Париж. Я постараюсь разыскать вашу гадалку и разрушить ее зеркало, а с ним и ее чары... А пока берегите вашу собаку...

— Ну, а что же ваша невеста? — спросил поэт.

Нерехтин улыбнулся и, помолчав несколько мгновений, отвечал:

— Она мне дорога по-прежнему и, если ничего не случится и наш добрый волшебник разрушит магическое зеркало, то я надеюсь пригласить вас всех пожаловать на мою свадьбу...

ИСКУШЕНИЕ

(Рассказ о духовидцах)

I.

...Лестница, по которой я поднимался, по случаю летнего времени, не была освещена, и я светил себе спичками, чтобы найти его квартиру. В полутьме дождливого летнего вечера мною овладело неприятное чувство жуткости. Это происходило от легкого нездоровья, вследствие кошмара, случившегося со мною накануне, и присущей мне нервности. Я еще не боялся, но уже находился, так сказать, в преддверии страха. Что-то необъяснимое и бесформенное уже тянуло ко мне свои холодные объятия. Я должен признаться, что моя душа всегда была склонна ко всему чудесному, в противность разуму, воспитанному на положительных науках, не допускающих, чтобы дважды два было пять. А между тем в доме, куда я должен был войти, мне, быть может, сегодня же докажут прямо противоположное.

Так говорил во мне какой-то внутренний голос, который действует совершенно по-своему: допускает то, в чем сомневается разум, и, наоборот, сомневается в непреложных истинах, установленных тем же разумом, и заставляет нас делать иногда в жизни поступки, противные установленному порядку, и просто даже безумства. И вот, в противность разуму, воображение уже начинало работать в моей голове; оно уже собирало краски на свою волшебную палитру, хотя еще далеко не было известно, в чем будет состоять картина. Между прочим, мне почему-то вспомнился следующий эпизод из моего детства.

У нас в семье жила горничная, бывшая крепостная моей бабушки. Это была красивая и здоровая женщина. Мы жили летом в деревне, и вдруг она заболела какой-то стран-

ной болезнью, которую не мог объяснить и приезжавший из города доктор, пичкавший ее касторовым маслом и всякими другими латинскими снадобьями. Перед смертью ей стало лучше. За день или за два до ее кончины я зашел к ней в комнату, и старая няня ей сказала при мне: — «Ну, вот ты, Аннушка, слава Богу, поправляешься», на что Аннушка ответила: — «Нет, матушка, я уж не поправлюсь. Сегодня на рассвете я сама себя видела. Все еще спали, и ты спала. Вдруг слышу, кто-то идет мерным шагом, да как-то осторожно, как будто боится кого-то разбудить. Я сначала думала, не ко мне ли кто идет, а она прошла мимо и опять как будто возвращается. Я и спрашиваю: — “кто это?” Тогда она остановилась, дверь приотворила и сказала: — “это я”... И вижу я, что это я сама стою в дверях, в белой кофте и в юбке. Постояла, посмотрела, закрыла дверь и ушла».

Моя няня ни на мгновение не сомневалась в смысле и сущности этого рассказа и только прослезилась и сказала: — «Ах, ты Господи, Господи! Ну, Бог милостив, Аннушка! Может быть, Он тебе и поможет. А я вот завтра к обедне схожу и за тебя просвиру выну».

Я почувствовал большой страх от этого рассказа и, когда вышел с нянькой от больной, то стал ее расспрашивать: «Неужели случаются такие страшные вещи, что человек видит самого себя?» На это нянька отвечала, что мне следует пойти побегать да поиграть, а об этом не думать. Но я слышал потом, как она говорила кучеру: — «Ей надо было притаиться и на образа посмотреть, а она, вишь, ее окликнула», на что кучер заметил: «Да, ежели смерть под окнами ходит, так оно тово...»

Этот отдаленный эпизод из моего детства я вспомнил, когда уже стоял у дверей его квартиры, и при этом невольно подумал, что старая нянька права и что если бы Аннушка не позвала привидение, то оно бы ей и не показалось...

«Не вернуться ли домой», — сказал внутренний голос, а рука между тем прижала пуговку звонка...

Мне отворил дверь молодой лакей и, пока я оправлялся в передней, пошел обо мне докладывать господам. Хозяин вышел встречать меня в гостиную и, обменявшись приветствиями, повел меня в столовую, где все сидели за чаем.

Общество казалось невелико. Оно состояло из сестры хозяина дома, сидевшей за самоваром, очень похожей на нее маленькой девочки, которая вскоре ушла, и пожилого господина с волосами, наполовину поседевшими, в форме генерала в отставке... Мне дали чаю и затем разговор завязался о разных не относящихся к делу предметах. Пожилой господин говорил о каком-то новом лекарственном растении, вывезенном из Америки. Потом стали говорить о том, что в тяжких и сложных болезнях доктора обыкновенно не помогают и что если кому суждено выздороветь, то выздоровеет и без доктора. При этом все тот же господин рассказал, как у него был болен единственный сын, положение больного казалось совершенно безнадежным, и вдруг он чудом каким-то выздоровел.

После этого наступило минутное молчание. Тогда, будто встрепенувшись, Андрей Иванович сказал:

— Григорий Григорьевич! Вот господин Д. давно уже говорит мне о своем желании ознакомиться с сущностью и явлениями спиритизма, не для какого-либо глумления, а ради любознательности...

— Да, — сказал Григорий Григорьевич, обращая ко мне свой взор, — мне Андрей Иванович уже говорил об этом и даже предупреждал, что вы сегодня к нему зайдете. Я с удовольствием готов удовлетворить ваше любопытство, но предупреждаю вас, что отношусь к явлениям спиритизма серьезно, с верой и поэтому надеюсь, что что бы я вам ни рассказывал, вы не сочтете меня за сумасшедшего или за мистификатора. Я скорее согласен на первое, чем на второе, потому что в мои годы и в моем положении мистифицировать кого-либо было бы непристойным шутовством.

Я на это возразил, что заранее не сомневаюсь в его искренности, что же касается хозяина дома, то я его знаю, как человека серьезного и порядочного и что раз мы собрались говорить серьезно, а не забавляться, то я и не допускаю мысли, чтобы меня стали поднимать на смех.

— Вот и прекрасно... Теперь, прежде чем я начну вам рассказывать, как я сделался спиритом и чему я был свидетелем, — а рассказ мой займет довольно продолжительное время, — я должен попросить Андрея Ивановича сделать нечто вроде предисловия и рассказать сначала о себе, так как он первый ознакомился с явлениями спиритизма, и уже от него я узнал, что такое спиритизм.

— Вы помните, конечно, — начал тогда Андрей Иванович, — появление первых статей Вагнера о спиритизме в одном серьезном и большом журнале, кажется, в «Вестнике Европы». Прочитав их, я был удивлен по многим причинам. Во-первых, я удивился необычности и странности явлений, описываемых профессором; во-вторых, тому, что профессор решается говорить о них серьезно и даже как бы применяя научный метод к своему изложению; наконец, в-третьих, — что серьезный журнал все это напечатал и, сколько помню, даже без замечаний и оговорок. Потом, если вы помните, на спиритов и на спиритизм посыпались возражения, где к научным доводам примешивалось немало злых насмешек. Спириты защищались довольно туманно, но, что меня поразило тогда еще, упорно и спокойно. Вот я и подумал: «Если так, то, значит, тут что-нибудь и есть... Дай-ка и я попробую, сделаю опыт и посмотрю, что из этого выйдет». Дело было летом, семья моя была на даче, но мне приходилось часто бывать в городе; на зимней квартире оставался только один человек. Мы сговорились с моим двоюродным братом посвятить спиритизму несколько вечеров. В один вечер мы выбрали с ним небольшой стол, сколько помню, четырехугольный, и, сев за него друг против друга, положили на него руки, как полагается. Мы сидели с ним в полной тишине, в ожидании явлений, в течение часов двух с лишним. Перед сеансом мы условились не разговаривать и, поэтому, почти неподвижное и про-

должительное сидение было утомительно. Но в первый вечер ничего не вышло. Мы встали несколько разочарованные и утомленные, но решили сойтись на следующую ночь. На следующую ночь мы просидели три битых часа и опять ничего; никаких последствий. Двоюродный брат предложил мне бросить это дело, но какой-то тайный голос во мне говорил: «потерпи еще немножко», и я сказал своему двоюродному брату: «нельзя так бросать; попробуем еще два или три вечера; если б все отказывались после двух неудач, тогда многое, что теперь известно и очень важно, оставалось бы для человека в полном неведении». Он согласился, и вот, не помню, на третий или четвертый раз, через какие-нибудь двадцать минут, не более, ко мне неслышно протянулась через стол чья-то рука и тронула меня. Я ясно почувствовал ее прикосновение в то мгновение, когда всего менее этого ожидал... Я испытал странное чувство, не говоря уже о страхе, и скорее вскрикнул, чем сказал: «Это ты меня трогаешь?» «Нет», — отвечал он с удивлением, и я сознавал и чувствовал, что это не он меня тронул. Через какие-нибудь две-три минуты он тоже вскрикнул и повторил тот же вопрос. Неизвестные руки, откуда-то появившиеся в темноте, трогали то меня, то его. Потом стал стучать стол и отвечать на наши вопросы. Не помню, как кончился этот сеанс, но помню, что когда мы вышли в освещенную столовую и сели ужинать, то ни один из нас почти не притронулся к пище, и оба мы сознавали, что случилось нечто очень важное. После того мы повторяли сеансы чаще и с большей охотой; затем пригласили участвовать двух-трех близких приятелей, в которых мы были уверены, что они не подымут нас на смех и поймут, что мы серьезно ищем разъяснения столь загадочных явлений. Между прочим, и она принимала участие, — прибавил Андрей Иванович, указывая на свою сестру.

— И что ж, вы тоже видели явления? — спросил я, обращаясь к сестре хозяина.

— Да, я тоже видела, — отвечала она спокойным голосом, наливая чай.

— Таким образом, — продолжал Андрей Иванович, — постепенно мы были свидетелями всевозможных явлений, о которых вы, вероятно, слышали или читали в книгах. Кроме того, я оказался очень сильным медиумом. В моем присутствии явления делались разнообразнее и ощутительнее. При этом я, как говорится, впадал или в полный транс или в половинный. Я находился в состоянии какого-то забытья: это сон, но только какой-то особенный, что-то вроде магнетического сна, как прежде его называли. Теперь я уже давно не принимаю участия в сеансах, да и медиумическая сила стала во мне ослабевать. На этом кончается мое предисловие, а уже продолжать будет Григорий Григорьевич.

Григорий Григорьевич затушил докуренную им папиросу, откашлялся и начал:

— Прежде всего, надо вам сказать, что я старый друг этой семьи. Уже много лет я принят здесь, как свой человек, да и они у меня бывают частенько запросто. Говорю это для того, чтобы напомнить вам, что обмана между нами быть не может. Конечно, шутка возможна, но всякая шутка имеет свое место и свои пределы. Кроме того, я должен оговориться, что до того, как я сделался спиритом, я был человек маловерующий или, если хотите, совсем не верующий. Я, конечно, допускал, что при наших пяти чувствах и ограниченности ума человека, мы не в состоянии понять и определить, что такое пространство, время, материя; но в то же время я признавал очень остроумной теорию Дарвина о половом подборе, считал непреложной истиной закон Лавуазье, что «в природе ничего не создается и ничего не исчезает», а о Боге, признаться сказать, никогда не думал. Ведь мы с вами теперь говорим искренне, по душе, а потому я вам и скажу, что по теперешнему моему убеждению безусловный атеизм есть или заведомая ложь того, кто заявляет себя атеистом, особенного рода кокетство, или безнадежная, тупая ограниченность человека, который живет инстинктом и только думает об удовлетворении своих скотских потребностей. Понятная вещь, что прежде я никогда не просил Бога о чем-либо, никогда не молил

его о прощении, не благодарил за счастливые минуты в жизни, а уж тем более за испытания, который выпадали на мою долю. Присутствие же Его на небе было для меня столь же безразлично, как существование жителей на луне... Впрочем, чтобы не отвлекаться много в сторону, перехожу к интересующему нас предмету...

Раз как-то я прихожу к Андрею Ивановичу. Он мне и говорит: «Так и так, устроили мы сеанс и вот что произошло». Я, конечно, сказал, что все это вздор и пустяки, а Андрей Иванович говорит: «нет, не вздор» и предложил мне испытать самому. Я сначала отказывался, говорил, что даже совестно этим заниматься, но он уперся на своем. Нечего делать, пришлось согласиться. И представьте себе, в тот же вечер я был свидетелем замечательных явлений. Я уже не говорю о том, что стол вертелся, стучал, отвечал на наши вопросы и даже становился тяжелее и легче по нашему желанию. Произошло нечто совершенно необъяснимое... Сеанс происходил в столовой, при спущенных портьерах. Стаканы на чайном столе прыгали и перемещались. Андрей Иванович оказался очень сильным медиумом... Поэтому все явления в его присутствии происходили при самой разнообразной обстановке; требовалось только общее сосредоточение. Тогда, чтобы более убедиться, что обмана нет, я взял его за обе руки, а колени зажал между своими коленями. Через каких-нибудь десять минут в воздухе начали летать различные предметы...

Он минуту помолчал, потом начал снова.

— Первый же вечер произвел на меня такое впечатление, что я решился продолжать опыты; на этот раз уже я упрасивал Андрея Ивановича собраться еще несколько раз подряд. Между нами было такое согласие, что явления с каждым разом усложнялись и делались все поразительнее и поразительнее. Надо заметить, что в этих явлениях вообще трудно уловить логическую связь и установить общий закон, но, однако, при всей их капризности, в них существует известная последовательность. Сначала начинаются явления динамические: вертится стол и стучит; это самое простое; потом начинается, по желанию присутствующих,

изменение веса стола, перелет предметов из одного места в другое; после этого, а иногда и одновременно, ощущается прикосновение чьих-то рук. Мы самым строжайшим образом поверяли друг друга и, тем не менее, руки, самые настоящие руки, с пятью пальцами, теплые, а иногда и холодные, быстро прикасались к нашему телу, с неуловимой скоростью меняя место в пространстве.

— Неужели вам не было страшно? — спросил я.

— Очень было страшно; в особенности первое прикосновение наводит ужас... Сначала я так испугался и растерялся, что через несколько минут мы принуждены были прекратить сеанс. Я не мог переносить более... Потом я постепенно привык, хотя долго еще испытывал особую тревогу, даже тогда, когда я только приступал к опытам. После динамических, начались явления высшего порядка. Появился свет, а вместе с ним видимые предметы, непонятно откуда являющиеся. Например: в углу стояли цветы и вдруг среди листьев загорался свет; он то светил, то потухал, затем опять начинал мерцать, как бы собираясь с силами, и, наконец, над цветами подымался световой шар. Этот шар незаметно менял места: то он тут, то он там; при этом он менял и цвет: то был белесоватый, то розовел, то зеленел, то принимал бледно-синеватый отблеск, и, странное дело, при этом последнем цвете я испытывал наибольшую душевную тревогу. Я иногда вскрикивал: «Видите, видите!»...

Григорий Григорьевич замолчал на минуту и нервно закурил папиросу.

III

По мере рассказа, взгляд Григория Григорьевича принимал особое странное выражение... Нечто подобное я видел в глазах одного вертящегося дервиша в Константинополе, когда он совершал свой странный обряд: в глубине их зрачков, так мне казалось, светился какой-то странный, ужасно далекий огонь, и огонь этот напоминал мне тот, ко-

торый носится над могилами в темную тихую ночь... И в голосе его мне слышалось нечто особенное. Сначала он вел свой рассказ хотя серьезно, но спокойно, но потом его речь приняла интонацию странную, торжественную, как будто он читал страницы из какой-то священной книги... Постепенно хаос необъяснимых мыслей и чувств зарождался в моем мозгу и охватывал его подобно крепкому курению в таинственном языческом храме...

— В чем же состояли дальнейшие явления?

— А вот слушайте. Потом стали являться в нежных, колеблющихся хлопьях света чьи-то руки, нежные, прозрачные, с тонкими, точно выточенными пальцами, которые носились в воздухе, трогали нас, таяли и заменялись новыми. Иногда мелькали в воздухе отдельные части лица, складки одежды; как будто «ему», если хотите, назовем духу, было крайне трудно собраться в полную человеческую форму. Казалось, он томился так же, как и мы, и, наконец, ему это удалось. Однажды в той полутьме, в которой происходили сеансы, появился серый волнующийся столб, который постепенно принял вид человеческой фигуры. Затем духи, — еще раз уговоримся их так называть, — как будто к нам привыкли и стали проявляться все яснее и яснее и, наконец, стали нам совершенно видимы. Единоновременно появились и звуки: то как будто около нас ходил кто-то в сапогах, то в туфлях, то босиком; иногда раздавались голоса, произносившие бессвязные слова, короткие фразы; звуки этих голосов были резки, подобны возгласам опасно больных в состоянии бреда. Кроме того, они не слышались оттуда, где являлся дух, а как-то со стороны...

— Сначала, пока я не привык, — продолжал Григорий Григорьевич, — эти голоса меня очень пугали. Вот что случилось со мной после одного из таких сеансов. Возвращаясь я домой, раздеваюсь и ложусь в постель. Только что я потушил свечу, как на меня вдруг кто-то навалился... Сознывая, что это дух, я воскликнул. «Что ты, что ты, оставь меня!» и перекрестился; тогда он меня оставил. На следующую ночь что-то застучало в стене, потом задвигался стакан с водой на моем ночном столике, и кто-то по-

ложил мне руку на грудь. Я опять помолился, и все исчезло. С тех пор это более не повторялось...

— Вы давеча сказали, — спросил я, — что духи стали к вам являться во весь рост. Что же это такое было?

— А вот вам наиболее поразительный случай. Это было в июне... Вы помните, Андрей Иванович, как «он» к вам явился?

— Помню. Но они его видели лучше меня. Я был в состоянии полубытья, так сказать, полутранса...

— Так как в начале июня ночи совсем светлые, то мы спустили портьеры на окнах. Я сидел приблизительно вот так, а влево от меня было окно. Вдруг «он» явился между мной и окном, очень близко... Он имел формы человека и довольно высокого роста. Он был строен и от его плеч до полу падала широкими складками одна непрерывная, сплошная белая одежда, изливавшая какой-то тихий свет, как будто под нею что-то горело.

— И вы его хорошо разглядели?

— Да, я его хорошо разглядел. Я сидел за столом и, не отнимая от него рук, наклонился в сторону призрака. На нем было что-то вроде сандалий и широкий серебристый пояс... Лицо было очень правильное, с бородой. Но я его разглядел не сейчас. Он стоял совершенно неподвижно, ни одна складка на нем не шевелилась и голова была приподнята так, как будто он смотрел в угол потолка. Затем «он» исчез. Мы были все очень возбуждены, и кто-то из нас сказал: «Покажись, пожалуйста, еще раз». Когда эта просьба была повторена, «он» опять явился около самого окна. Портьера с одного края приподнялась и на него упал целый сноп лучей восходящего солнца... Был уже четвертый час утра. «Он» простоял так несколько секунд, боком к нам, и затем исчез. Лицо его было очень бледно, как будто бескровное; черты правильные и несколько восточного характера. Глаза «его» были как-то безучастно и неподвижно устремлены по направлению солнечных лучей...

— Как все это странно! — сказал я.

— В том, что я вам рассказал теперь в кратких чертах, — продолжал Григорий Григорьевич, — в сущности говоря,

заключается вся история моего обращения, которым я обязан Андрею Ивановичу. К сожалению, он последние года два почти совсем прекратил свое участие в сеансах...

— Это верно, — прервал Андрей Иванович, — я бросил спиритизм по многим причинам; между прочим, потому, что потерял всякую надежду пролить на него хоть какой-нибудь луч света.

— Я же остался гораздо более постоянным и убежденным. Я завязал знакомства с несколькими кружками образованных людей, ищущих жадно истины, и продолжал посещать и устраивать сеансы. Я многое видел, многое испытал, запас моих наблюдений увеличивается с каждым разом... У меня зародилась надежда, что, быть может, я удостоюсь, наконец, быть свидетелем чего-нибудь такого, что просветит меня окончательно.

— Почему вы употребили слово: «удостоиться»?

— Потому что, благодаря спиритизму, в моем духовном мире произошел большой переворот. Я ищу в нем прибежища и утешения; я стал «верующим». Что бы я ни делал, где бы я ни находился, часть моих чувств, если можно так выразиться, всегда остается в связи с этим таинственным миром, а это мне напоминает о Боге. Я хорошо знаком с Х. (он назвал имя известного спирита), но в известных отношениях я его не одобряю. В своей непреклонности и в желании завербовать как можно больше адептов он не пренебрегает никакими средствами. Ему, например, ничего не стоит обмануть... Вот до чего доводит фанатизм! Ведь это такая же крайность, как и атеизм?.. Я этого никак не мог и не могу понять, и считаю, что такие приемы могут только подорвать вконец доверие к спиритическим явлениям. И так уже наша работа походит на труд Сизифа. С величайшим трудом мы тащим этот таинственный камень по неведомому скату вверх; тащим, тащим и вершины-то не видим, а только надеемся, что за нею блеснет отрадный свет, и вдруг он вырывается из рук и опять начинай сначала.

— Да разве вы придаете спиритическим явлениям духовное происхождение?

— Не хочу отвечать утвердительно, но расскажу вам один эпизод, который разъяснит вам мой взгляд на этот предмет...

IV

— Несколько лет тому назад, — продолжал Григорий Григорьевич, — умерла одна дама, с которой я был очень дружен, и смерть ее была для меня большой утратой. Это было еще до того, как я сделался спиритом и, когда она умерла, я подумал, что ее более нет и что те частицы, из которых она состояла, разнеслись по этому скучнейшему из миров и никогда более не соберутся в ту же самую форму. Что может быть печальнее и безотраднее такого сознания! После поразительных явлений, которых я был свидетелем, мои взгляды коренным образом изменились. Я все чаще и чаще стал ее вспоминать и, так как в сеансах, в которых я принимал участие, несмотря на мое тайное желание, она не только ни разу мне не являлась, но даже ничем не дала знать о своем невидимом присутствии, то я решился это устроить каким-нибудь иным путем. Главное дело, надо было достать сильного медиума, так как я знал, что в их присутствии нет необходимости составлять цепь. Наконец, то, что я желал, случилось. Все обстоятельства сложились чрезвычайно благоприятно. Моя жена с сыном уехали на праздники в Москву к теще, и я оставался совершенно один; прислуга помещалась в другом конце квартиры, очень далеко от моего кабинета. В одном обществе я познакомился с медиумом, которого и упросил посвятить мне несколько вечеров. Это был молодой человек лет двадцати пяти, худощавый, бледный и вялый на вид; но в его взгляде было что-то такое, что пробуждало во мне надежду, что желаемое свершится... В одном углу моего кабинета есть ниша с раздвигающейся занавеской. Я туда поставил глубокое кресло и усадил в него моего медиума. Сам же я сел недалеко от него за столиком и мысленно сосредоточился на своем

желании. В двух наиболее удаленных углах кабинета горели лампы с абажурами, и было довольно светло. На дворе стояла темная, морозная ночь... (Это было в декабре в 188* году)... Медиум за занавеской сначала тяжело хрипел, а потом успокоился. Все было тихо. Я просидел битых два часа, но никто не являлся. Наконец, в начале второго часа ночи занавеска стала колыхаться, как будто кто-то силился ее приподнять; колыхнулась несколько раз, потом как-то беспомощно упала и больше уже не шевелилась. Тогда я спросил стол, могу ли я надеяться, что она явится, и стол мне ответил: «сегодня нельзя, приходи завтра...» Мы сговорились сойтись на следующий вечер. На этот раз медиум долго не засыпал, но через четверть часа после того, как он впал в транс, край занавески приподнялся, и я увидел высокую серую фигуру, точно вылепленную из глины. Она простояла несколько мгновений и исчезла. Я положил руки на стол и опять спросил: «покажется ли она еще раз», и получил ответ, что «на сегодня довольно» и чтобы я приходил завтра.

На третий раз мой медиум казался еще более утомленным, чем накануне, и мне даже стоило немало труда уговорить его прийти. Это происходило накануне Рождества. Целый день я был в разъездах, обедал где-то в гостях, но мысль о предстоящем меня не покидала... К вечеру поднялась вьюга, меня уговаривали немного переждать, но что-то меня толкало скорее домой... Медиум несколько опоздал и пришел около полуночи. Он почти ничего не говорил и дрожал от холода. Он показался мне еще бледнее и хуже обыкновенного. Я ему дал несколько отогреться и затем повел его на место. На этот раз он не сел, а скорее упал в кресло, побледнел и впал в транс. Я сел за свой столик и уставился в занавеску. Прошло каких-нибудь десять минут и... оттуда вышла женщина и остановилась в шагах четырех передо мной. Это была «она», с ее чертами лица, во всех красках, в том самом платье, в котором я привык ее видеть в последнее время... Она простояла передо мной совершенно неподвижно и безмолвно несколько секунд и затем скрылась за занавеской.

Не сумею вам сказать, что я испытал в это время; я не помню... но, когда она исчезла, я весь обратился в непреодолимое желание увидеть ее вторично... «Еще раз покажись, — говорил я, глядя туда, — покажись еще раз, прошу тебя!»... Чем более усиливалось желание, тем более вздувалась занавеска... и вдруг, не помню как, она отвернулась вся и я увидал такую картину. Медиум глубоко спал, раскинувшись в кресле, а она стояла позади его, как будто на каком-то возвышении, круто загнув голову лицом к потолку, и через несколько секунд ушла вся, как дым, в голову медиума...

Григорий Григорьевич нервным взмахом руки показал, как «она» исчезла и на мгновение задумался...

— Занавеска упала. Я стал просить ее явиться в третий раз, но на это неизвестно кому принадлежащий голос мне отвечал: «Больше ничего нельзя... Проси Бога: молись Ему и, может быть, Он тебе откроет то, чего ты так много желаешь...» Тогда я разбудил медиума. Он был весь в поту и казался страшно измученным.

— И вы думаете, спросил я, что это была «она»?... Так сказать, ее дух?

— Вот в этом-то и дело, в этом-то и величайшая задача! Чтобы убедить меня в том, что это явление имело духовное происхождение, надо было, чтобы она заговорила, а она молчала: а голос, который я слышал, раздавался из-за занавески и на ее голос не походил. Вот, если бы мне удалось этого достигнуть, я бы считал это величайшей «милостью»... Для меня был бы разрешен страшный вопрос о смерти... Я все-таки верую, я глубоко верую, но у меня есть какое-то сомнение... И Фома ведь сомневался... Не смерть, смерти я уже не боюсь, а меня смущает «умирание»... Вот в чем вопрос... Как из одного положения, из одной оболочки, человек переходит в другое?.. «Они» одни могут только объяснить это...

После этого Андрей Иванович стал дополнять рассказ Григория Григорьевича некоторыми подробностями о спиритизме, и разговор опять сделался общим. Говорили о том, что духи иногда приносят с собой разные предметы, глав-

ным образом, цветы. Говорили также, что из медиума в состоянии транса иногда исходило какое-то «существо», которое в его же формах, т. е. медиума, могло являться одновременно в другом месте... Вследствие общего разговора в столовой стало шумнее; слушая их и вдумываясь в их рассуждения, я в то же время испытывал странное раздвоение мысли. С одной стороны, я старался объяснить себе более или менее правдоподобно невозможные явления, о которых мне рассказывали, и душевное состояние рассказчиков; с другой стороны, возбужденное воображение рисовало мне нечто невозможное и дикое... Фантастическая струна зазвенела в моей душе, странные образы слетелись на этот призыв и перед моим духовным взором развертывалась совсем другая волшебная картина...

V

— Все то, что мы вам передали, — сказал Андрей Иванович, — вам кажется, конечно, невероятным; но если бы мы оба положили свои руки на ваши и вдруг пятая вас бы коснулась, поверили ли бы вы?

Я отвечал, что это зависело бы от обстоятельств...

— Если бы мною завязанный узел на веревке развязался в моих руках, я бы еще поверил...

— Для медиума все возможно, — сказал Григорий Григорьевич, — он действует в непонятной нам области...

— Но не будем, однако, терять времени, — добавил он, — мы все трое одинаково настроены, и я уверен, что мы что-нибудь увидим. Вы согласны сесть?

Откровенно сказать, именно потому, что я был «настроен», мне хотелось отклонить опыт до следующего раза, но искушение было еще сильнее и продолжало вести меня по этому фантастическому пути. Мы встали и пошли в другую комнату. На часах пробило полночь...

Комната, в которую мы вошли, была несколько менее столовой и освещалась одним окном, заставленным высо-

ким экраном. Сквозь небольшие промежутки, между краями экрана и рамы, пробивался слабый свет белой петербургской ночи, омраченной дождливой погодой. На ломберном столике, находившемся у одной из стен, горела свеча. В меблировке комнаты не было ничего примечательного. Большой стол с бумагами, несколько шкафов со стеклянными и глухими дверцами; в одном углу, на открытой вешалке, висело завернутое в простыню платье. Хозяин поставил посередине небольшой четырехугольный стол и три стула и сказал:

— Ну что ж, господа, можно садиться?

— Да, сядемте, сядемте, — отвечал Григорий Григорьевич с нервной торопливостью.

Я сел против Григория Григорьевича. Андрей Иванович затушил свечу и сел сбоку.

Было настолько темно, что, несмотря на небольшие размеры стола, я не видел сидевшего напротив меня Григория Григорьевича.

— Что же вы не даете ваши руки? — спросил я его.

— Обождите, — отвечал он из темноты. — Я молюсь... Помолитесь и вы; помните, к какому страшному делу вы приступаете!..

Я не мог удержаться от раздражения при этих словах...

— Не примешивайте Бога, — возразил я ему, — мне кажется, что Бог тут не при чем. Оставим Его в покое.

— Я всегда молюсь... — отвечал он и положил свои руки на мою.

Руки Андрея Ивановича скоро похолодели и стали едва заметно вздрагивать. Все мы молчали, погрузившись каждый в свои мысли. Медленно шла минута за минутой...

Хотя мои глаза и освоились несколько с темнотой, но все-таки я видел очень мало. Очертание неподвижных предметов сливалось с темнотой и определить точные границы каждого из них было трудно; в темноте всегда кажется, что они перемещаются то в одну, то в другую сторону.

Все было тихо и даже самый легкий скрип не нарушал тишины. Даже дыхание моих товарищей едва было слышно. Наконец, в комнате стало темнее. Отчего это произо-

шло, не знаю, но знаю только, что изо всех окружающих предметов я стал различать с трудом только белое пятно простыни. Это была та фантастическая темнота, на фоне которой воображение рисует всевозможные картины, одну причудливее другой, где нет ни начала, ни конца, потому что взор делается бессильным найти их. Осязание и в особенности слух становятся особенно чувствительны и ловят такие ощущения, который при свете были бы незаметны.

Иногда, вследствие напряжения взгляда, передо мной мелькали тонкие светлые круги, которые тотчас же и исчезали, — явление обычное в темноте.

Прошло более часа... Андрей Иванович несколько раз тяжело вздыхал, руки его нервно вздрагивали... Тогда я, с согласия обоих, переменял положение рук и положил их сверху. Прошло еще около получаса. От напряженного внимания и волнения я начал чувствовать усталость...

Вдруг что-то тихо заскрипело и застучало.

— Кажется, начинается, — сказал Григорий Григорьевич.

Никто не отвечал... Я встрепенулся, с усилием сбросил овладевшую мною усталость, с твердой решимостью бороться против охвативших меня ощущений и не принять какое-нибудь простое явление за сверхъестественное. Ощущения эти невидимым кольцом носились вокруг меня в окружающей тьме, и это кольцо становилось все уже и уже... Я уже слабо боролся; желание ничего не испытывать и ничего не видеть все более и более побеждалось роковым стремлением к таинственному, неизведанному; эта тьма притягивала меня, как болото засасывает неосторожного путника... Прошло еще полчаса... Еще минута и... Но Андрей Иванович встал и сказал:

— Я думаю, что довольно. Вы, вероятно, утомились для первого раза; да и вряд ли сегодня что-нибудь бы вышло.

— Досадно, — сказал Григорий Григорьевич.

И когда зажгли свечу, то я по лицу его убедился, что ему действительно было досадно. Мы вышли опять в столовую, и я вздохнул с облегчением.

Григорий Григорьевич обвинял хозяина в неудаче сеанса.

— Вы недостаточно сосредотачивались, — сказал он. — Сегодня все мы были так настроены, что наверное что-нибудь бы вышло.

— Я действительно виноват, — сказал Андрей Иванович. — Я чувствовал, что впадаю в особенное состояние, но удерживался от этого. Я боялся, чтобы мои движения в состоянии транса не произвели неприятного впечатления на нашего гостя.

— В таком случае, зачем же вы сидели два часа? — раздраженно спросил Григорий Григорьевич.

— И то правда... Одним словом, мне не хотелось, а почему, не сумею объяснить...

— Не думайте, чтобы эта неудача подорвала во мне доверие к вашей искренности, — сказал я. — Вопрос останется открытым...

— Да он и для нас еще не разрешен, — сказал Андрей Иванович. — А в нашей неудаче нет ничего удивительного. Первый сеанс обыкновенно редко удается. Во всяком случае, вы теперь уже знаете, что такое спиритизм, из наших рассказов. На другой или третий раз вы уже убедитесь из опыта...

Мы простились с хозяином и вышли с Григорием Григорьевичем на улицу. Несмотря на позднюю ночь, он проводил меня до Гостиного двора. Он был не в духе и сказал:

— Теперь уж этого я так оставить не могу. Осенью я с вами увижусь, и мы повторим сеансы. Тогда вы убедитесь на деле, что все, что я вам сообщил, есть истинная правда...

На этом мы расстались. На этом, собственно, и кончились все таинственные приключения; быть может, даже к неудовольствию и разочарованию читателя. Мне остается только дополнить мой рассказ теми отрывистыми рассуждениями, которые мне пришли в голову, когда я, расставшись с Григорием Григорьевичем, шел домой...

VI

...Последние капли дождя лениво падали на опустелые тротуары и на ставни закрытых магазинов. Кроме дежурных городских, никого не было видно; изредка проезжали извозчицьи дрожки с запоздалыми седоками; тускло светились часы на думской башне; было сыро и как-то бесприютно. Часть неба очистилась от туч и чуть заметные розоватые лучи поднимающегося солнца примешались к белесоватому свету полярной ночи. Некоторые иностранные писатели, побывавшие в Петербурге, восторгаются этими необычайными для южанина ночами. И наш великий Пушкин в своем «Медном Всаднике» посвящает им несколько очаровательных строк:

...Люблю
Твоих задумчивых ночей
Прозрачный сумрак, блеск безлунный...

Я родился и подолгу жил в странах, где белых ночей нет, и до сих пор не могу привыкнуть к их «прозрачному сумраку». Что-то болезненное, раздражающее чувствуется мне в этом трепещущем, извивающемся свете. Мне кажется, что ночная тьма создана для того, чтобы дать возможность людям скрывать то, что они не сделали бы днем; а в этом белесоватом свете становится как-то томительно и стыдно бывает взглянуть в лицо человеку... В такие ночи сон бежит от меня, взор чего-то ищет, сам не знаю чего, уши прислушиваются к отдаленным звукам, к болезненному трепету природы, зарождающей тысячи новых жизней, и хочется что-то сказать такое, к чему и не подберешь слов; а сердце бьется уныло, нерадостно...

Под влиянием этой белой ночи, мне пришла мысль, что у нас искание чудесного и невероятного должно было проявиться более, чем где-либо, в виде спиритизма, потому что в такого рода общении с волшебным отражается наша природа. В спиритизме все как-то бессвязно, тускло и бо-

лезненно. Начинается с ничтожного, а затем переходит к настоящим видениям, загадочным созданиям нашего воображения. И в этих видениях, предательски изменчивых, светящихся белесоватым светом наших полярных ночей, спириты ищут Божества...

Подходя к дому, я все думал о своих собеседниках, о том, были ли они искренни, точно ли они видели то, что описывали, и решил, что да... Я решился им поверить. Если я верю в обман намеренный, то я также верю в обман чувств, а также и в злое начало, откуда бы оно ни шло, потому что не усматриваю разницы между дьяволом и необъяснимой болезнью души, так как и то и другое нам совершенно неизвестно. Шопенгауэр, которого называют отцом пессимизма нынешнего века, в своей статье о вмешательстве судьбы в жизнь человека приводит целый ряд чудесных случаев: не прилагая к ним точного метода суждения, он сравнивает размышления о них с нащупыванием в темноте чего-то неопределенного...

Раздумывая таким образом, я вспомнил одного французского физиолога, с которым познакомился лет пятнадцать тому назад на юге Франции. Он старался объяснить некоторые видения особенным раздражением мозга вследствие продолжительного сидения на одном месте и напряженного сосредоточения мысли, да еще и в темноте, на том, что невозможно. Общность галлюцинаций он объяснял заразительностью этой болезни. В его объяснениях были некоторые противоречия, но тем не менее они мне показались заслуживающими внимания. «Вы, конечно, читали», — говорил он мне, — «о видениях отшельников. После известного промежутка времени их обыкновенно начинает искушать дьявол, окружая их привидениями, то поразительно ужасными, то полными исступленного сладострастия. Представьте себе, что это обыкновенно случалось ночью, в мрачной холодной лачуге, а то и в пещере, вдали от людей, и вы согласитесь, что уж эта обстановка сама по себе не обещала ничего доброго. В такие ночи отшельник, умерщвляя свою плоть, простаивает на коленях целые часы, находясь, таким образом, в угнетенном и напряженном со-

стоянии. Остальное понятно... Видения прокрадываются в бедную келью, и когда ужас достигает своего апогея, он начинает страстно и горячо молиться, и нечистая сила исчезает, пораженная в прах просветленным духом. Вы, конечно, скажете, что он молился и те долгие часы, когда стоял на коленях? Может быть. Но это была холодная молитва тела, а не духа, потому что истинная молитва всегда коротка и идет прямо из глубины души».

Вот почему я и допускал, уже поднимаясь по лестнице своего дома, что на второй, а может быть и на третий сеанс я тоже мог сделаться свидетелем странных явлений, таких же болезненных, как наши полярные ночи, и решился не повторять более этого опасного опыта... Пусть являются духи, если это надо, но только не я их буду вызывать... Я остановился на пороге спиритизма, на котором, быть может, как на воротах Дантовского ада, начертано: «Оставьте всякую надежду все сюда входящие».

1893 г.

С ВЕЧЕРНИМ ПОЕЗДОМ

Петрова задержали кое-какие дела в редакции одного журнала в Петербурге, и он возвращался к себе на дачу поздно вечером с пассажирским поездом.

В вагоне было очень немного проезжающих, да и те, что были, повылезли на первых же станциях. Так как ему оставалось ехать еще часа два с лишком, а читать газеты было уже поздно, то он и решил устроиться поудобнее и если не заснуть, то по крайности основательно подремать. Вытянув наискосок ноги на противоположный диван и закрыв глаза, он стал обдумывать повесть на тему из фабричного быта, на три, на четыре печатных листа. В дороге он поступал всегда так: когда хотел не спать, то обдумывал статью по какому-нибудь общественному или литературному вопросу, подбирая неприятности по адресу противников; в противном же случае — повесть или роман, так как это всегда нагоняло на него сон...

Как он ожидал, так и случилось; из его обдумывания ничего не выходило, нить мыслей между тем постепенно порвалась, и он незаметно задремал. В таком состоянии он находился, однако, недолго; стук выходной двери заставил его вздрогнуть и открыть глаза.

В проходе около него стоял господин ростом выше среднего и лет тридцати слишком, в мягкой фетровой шляпе и в длинном черном пальто. Заметив, что Петров не спит, он дотронулся до края шляпы и сказал:

— Извините!.. Нет ли у вас спичек? Забыл захватить с собой, а курить безумно хочется...

При этих словах на лице Петрова выразился испуг: этот голос и эта фигура ему напомнили Волховского, которого почему-то он считал умершим...

— Это не вы ли Волховской? — спросил он нерешительно, вынимая из кармана коробку шведских спичек в старом серебряном футлярчике.

При этом вопросе Волховской, — так как это был он, — сделал невольное движение назад, как будто не желая быть узнанным, но затем, так же быстро поборов это чувство, отвечал: «Да; это — я», и, сев напротив Петрова, устремил на него взгляд своих больших серых глаз, которые как-то болезненно блестели из-под надвинутой на них шляпы.

— Что вы на меня так странно смотрите, — сказал Петров, — как будто вы меня не узнаете?

— Ну вот еще; конечно, я вас узнал: вы Василий Васильевич Петров...

— Слава тебе Господи! А то уж я начинал думать, что вы — не вы... Вот уж не ожидал вас встретить! Признаться сказать, мы уже думали, что вы умерли... Ведь вы не мертвец, не порождение ада, пришедшее меня смущать в вагоне? — пошутил Петров.

— Нет, я жив еще... Если бы я взаправду умер, то вы, конечно, первый бы написали мой некролог.

— Ну, отчего же — первый? Может быть, и вовсе не написал бы... Я ведь некрологами не занимаюсь...

— Я вижу, вы не переменялись!.. Вы все тот же и считаете ниже вашего достоинства написать некролог о маленьком писателе... Вы считаете, что это дело репортеров, но ведь и из репортеров выходят иногда гениальные люди...

— Ну, да и вы, как посмотрю, тоже не изменились, — возразил немного задетый Петров, — вы, кажется, все еще надеетесь проснуться в один прекрасный день гением... Однако, в ожидании этого события, скажите, пожалуйста, ведь вы, кажется, года три назад сильно заболели?

— Не кажется, а даже наверно...

— Что же потом с вами случилось?

— Как видите, не то, что вы думали: я не умер, а просто уехал из Петербурга.

— Любовь?

— Может быть... А может быть, и нет...

— Вы всегда были не в меру чувствительны и каждую пустую интрижку раздували в целого слона... Гмм... Таким образом, вы, значит, путешествовали... Где же: за границей?

— Отчасти... Теперь я еду в направлении противоположном тому, которому обыкновенно следуют; на Одессу, Константинополь и Афины и так далее...

— Зачем же вы едете с пассажирским поездом?

В задумчивых глазах Волховского пробежало что-то тревожное, и он скороговоркой отвечал:

— Дело в том, что тут по дороге мне еще кое-где надо вылезать... по одному делу...

Петров по натуре принадлежал к числу людей, которые любят почему-то все выяснить, даже то, что совершенно до них не касается, и поэтому стал выспрашивать у своего спутника, не в Бологом ли ему надо слезать, а если не в Бологом, то где именно? Но эти нескромные вопросы остались без ответа... Волховской жадно курил папиросу и не отвечал...

Так как он откинулся назад, то Петров мог теперь более ясно разглядеть происшедшие в нем перемены за то время, что он его не видел. Волховской сильно осунулся, нос заострился; борода, которую он прежде подстригал аккуратно, теперь заросла и потеряла форму; жидкая растительность, до которой, очевидно, редко касались ножницы, покрывала и щеки; его серо-зеленоватые глаза глубоко ввалились и к обычной их выразительности прибавился какой-то беспокойный блеск... Глядя на него, Петров вспомнил его первое появление на литературном поприще, его нервно-веселый и слабый характер и его причуды, вспомнил, что они были сначала в добрых отношениях и как потом они разошлись вследствие различия, как ему казалось, взглядов на общественные вопросы и «художественного» отношения Волховского к беллетристике, что Петров считал второстепенным и даже пустым делом.

Несколько минут оба молчали, после чего Волховской сказал:

— Когда я задумаюсь, сидя в вагоне, то шум и грохотание поезда мне начинает казаться чем-то особенным... Иногда мне представляется, что вагон, колеса, цепи, паровоз, — все это между собою разговаривает на своем железном языке, на очень грубом и грозном языке... Кажется,

как будто они сообщают что-то очень тревожное, так что даже жутко становится...

Над бегущим поездом между тем надвигалась темная, облачная ночь и мимо окна летели тысячи ярких желтых искр, выбрасываемых паровозной трубой.

— Вот это тоже очень оригинально и красиво, — продолжал он, нагнувшись к окну и наблюдая за полетом искр. — Посмотрите, какие крупные искры! Сотни, тысячи острых огоньков на черном фоне... Летят, летят и тухнут, ничего не освещая... Помните, где-то у Диккенса в святочном рассказе или в сказке Андерсена яркий огонь горит в камине и искры между собою разговаривают?

Петров улыбнулся с выражением некоторого снисхождения и сказал:

— Фантазия! Теперь я вижу, что вы действительно не умерли...

На лице Волховского вспыхнул легкий румянец, и он живо возразил:

— Ну, да, фантазия! Что же из этого? Я со своими фантазиями никому ведь не мешаю...

Петров почувствовал в себе неожиданно некоторый прилив добродушия и спросил Волховского с участием в голосе:

— Отчего вы больше ничего не пишете? Писали и вдруг умолкли!.. Чем объяснить это «*altum silentium*»?*

— Отчего не пишете? Вот это мне нравится! Не вы ли сами критиковали меня?.. Вот и выходит, что когда пишешь, говорят, зачем пишешь, а когда не пишешь — зачем молчишь?

— Ну, все-таки вы могли бы писать хотя бы для себя... У вас же есть потребность?..

— Конечно, есть... Года два назад я опять стал усиленно работать, но ничего не выходило... Начал писать роман, но уже на половине как-то разъехался, растерял своих героев, сбился с основной мысли и ничего дальше не пошло. Попробовал написать драму — та же история! Сочинил нес-

* Глубокое молчание (*лат.*).

сколько рассказов совершенно реальных, в современном вкусе, но и они мне показались такими тусклыми, что я не мог смотреть на них без тошноты и все решительно сжег... Как будто сам сатана мне заколотил голову!..

— Может быть, вам это только так кажется?

Волховской уныло покачал головой...

— Нет, не кажется... я нарочно себя проверял: задался темой, написал повесть и затем стал ее сокращать, чтобы не было ничего лишнего... Сокращал, сокращал, и что ж бы вы думали? Осталось только восемь строк, то есть одна тема... Все остальное оказалось лишним! Эту процедуру я повторил над другой повестью, и опять получилась та же история! Каково?.. Для меня стало ясно, что мой талант отсырел, точно старый фейерверк... Я понял, что у меня еще тлеют внутри искры, да уже не те, а вроде вот этих, что летят из паровоза: они тоже яркие, но ничего не освещают... Это было мучительно!

Петров провел рукой по своему большому лбу, потом поводил пальцами по переносью и, подумав, сказал:

— Конечно, у вас талант был всегда несколько, как бы это выразиться, экзотический... Вы рассказывали хорошо, но большей частью о положениях исключительных, что и делало большую часть ваших работ, скажем резко, бесполезными. Кроме того, везде у вас, даже в лучших местах, сколько помню, пробегала эдакая струйка ипохондрии, что придавало вам характер какого-то безразличия, равнодушия... Словом, я не могу сейчас сразу указать на все ваши слабые стороны, но талант, во всяком случае, всегда у вас был, и я не вижу причин, чтобы он ни с того, ни с сего вдруг и окончательно пропал.

— Нет, не ни с того, ни с сего, причины были; а тем более, у нас очень трудно работать... Или превозносят, или хулят... Талант, пожалуй, и признают, а работу всегда порицают... Кроме того, о чем ни напишешь, говорят, что это уже было, что это уже сказано... Это, говорят, вы взяли у такого-то, это — у такого-то...

— Ну, так что же из этого? — прервал с удовольствием Петров, тем более, что пользование чужими мыслями он

считал совершенно естественным и законным. — Охота вам обращать на это внимание... Под луною нет ничего нового...

Волховского передернуло.

— Не говорите, пожалуйста, о луне, оставьте ее в покое!
— воскликнул он.

Петров удивленно взглянул на него...

— Почему это?

— Да так... я потом, может быть, вам это объясню... Может быть... Так что вы сказали?

— Я хотел сказать, что если на все обращать внимание, то придется весь век просидеть сложа руки... Так и жить нельзя!

— Наконец, если уж вы хотите знать, я душевно устал... Я не могу очнуться от состояния какого-то испуга и удивления перед тем, что происходит. Незаметно, с концом века, к нам хлынули новые течения, новые веяния... Я увидел, что стою между прошлым, в котором жил, и настоящим, в котором все ново и неизведанно... Огромный переворот во всем! Новая мировая политика, новые взгляды на права и обязанности людей, всеобщее осуждение войны и воинских подвигов, которые тысячи лет поэты воспевают, и рядом с этим всеобщий поход на древний мир, раскапывание вековых могил праотцев; новые открытия и, наконец, грядущее господство женщины!.. Какой надо иметь душевный запас, чтобы со всем этим освоиться и броситься в эти новые волны. Тут нужны новые песни и новые лютни, чтобы воспевать будущих героев мира и будущих женщин... По-моему, женщина и так уже была сильнее нас; чем же она станет в будущем?! Я смотрел на женщину совсем иначе... Мне она представлялась созданием удивительным, таинственным. Она даже не всегда мне казалась человеком, потому что через нее мы входим в общение с Богом и с злым духом... Древние египтяне поняли, что это за великая сила, и создали культ Изида... Говорят, что тогда-то и устанавливаются настоящие нравственные отношения между мужчиной и женщиной, когда они во всем будут принимать оди-

наковое участие... А я думаю, что это может выйти и не так!.. В женщине много добра, но в ней и могущество зла...

— По моему мнению, — сказал Петров, — все эти ожидания всяких несчастий для общества от освобождения женщины от мирского рабства ни на чем не основаны... Нельзя же из-за каких-то там ваших Изид и тому подобного продолжать третировать женщину, как красивое животное. Вы, сами того не замечая, исповедуете не культ Изиды, а культ очаровательной дамочки; а между бедными женщинами есть много далеко не очаровательных, которые требуют себе куска хлеба и более ничего... Удивляюсь, что вы, литератор, этого не понимаете!..

На лице Волховского изобразилось нечто вроде испуга.

— Да ведь я же и говорю, что я отстал... Я отлично создаю, что нахлынуло что-то совершенно новое, но уже двигаться с ним рядом не могу, потому что оно бежит, летит вперед...

— Вы преувеличиваете... Мир никогда не стоял на месте... Каждый день приносит что-нибудь новое, а если вы говорите о нравственных принципах, то все это уже прекрасно выяснено еще в минувшем веке; все уже сказано и нового тут ничего не прибавишь...

— А по моему, можно сказать, но вот в этом-то и загадка — как и кто будет говорить... Мне кажется, это будет тот человек, который сумеет, если можно так выразиться, написать похвальное слово мировому злу и даже его возвеличить увлекательно и убедительно... Я давно уже нахожу, что у нас понятия о добре и зле, о положительном и об отрицательном совершенно ложны. Пора заступиться за зло! В жизни и в природе не знаешь, где начинается одно и кончается другое... Последнее время стремление к абсолютному добру приняло такие размеры, что даже начинает раздражать. По моему, в большом количестве добро нестерпимо... Да и что такое значит жить в добре, по правде? По моему — не жить, потому что сама жизнь есть не только добро, но и зло... Когда я хожу по земле, я давя ногами невинных букашек; когда пью воду, то с каждым глотком уничтожаю миллионы инфузорий... И таким путем можно

доказать, что зло господствует наперекор всему и все, даже проповедники самого чистого добра, влекли за собой большие несчастья, и еще вопрос, хорошо ли они поступали?.. Зло никогда не исчезнет! Вы помните, в Апокалипсисе говорится, что и смерть и ад на веки вечные будут повержены в озеро огненное? Не указывает ли это предсказание на то, что то, что раз создано — уже не будет уничтожено, и хотя в огненном озере, лишенное способности вредить, зло будет все-таки существовать?.. А вдруг явится новый Прометей, который из любопытства, или из жалости к сатане ослушается «сидящего на белом престоле», да возьмет и похитит огонь из этого пылающего озера... Что тогда?

Петров слушал с удивлением и не без некоторой тревоги, так как мысли его ему показались более чем странными... Тот между тем продолжал говорить в том же духе, но еще более замысловато, на тему о еще дремлющих силах природы, которые человек постепенно призовет к деятельности и от них же погибнет... Все это он излагал горячо, но чем далее, тем бессвязнее. Петров с тревогой посматривал то на него, то на часы и старался более ему не возражать.

Между тем, поезд уменьшал ход и стал подходить к какой-то станции. Однообразный грохот колес заменился сильным шумом дождя, падавшего целыми потоками на крышу вагона и струившегося по стеклу окошек. Гром гудел почти непрерывно. Поезд остановился.

— Да, «кто знает, что еще на дне времен таинственно хранится!» — сказал, подымаясь, Волховской и затем неожиданно спросил:

— Не выпить ли нам коньяку?

— Ну вот еще! Охота вам пить на ночь! Да и не стоит выходить; разве вы не видите, какой дождь?

— Ну, а я все-таки выпью, а то как-то жутко ехать в такую погоду, — возразил Волховской и быстро вышел.

Петров слышал, как он поскользнулся на ступеньках, и ему стало неприятно.» Станный собеседник вернулся уже с последним звонком, вскочил на ходу и вошел в вагон в мокрых сапогах с крупными каплями воды на пальто и на

шляпе и с руками, выпачканными в саже. Но, казалось, он этого не замечал.

Он уселся опять против Петрова, снял шляпу, искал в кармане пальто платок и, не найдя его, стал обтирать лоб грязной ладонью. Лицо его было бледно, рот кривился какой-то странной улыбкой, а давно нестриженные и нечесанные волосы плоскими космами падали на уши и на лоб...

— Проливной дождь! — сказал он, — а я все-таки рюмки две коньяку успел выпить... Каково?

— Напрасно! — сказал Петров с оттенком раздражения в голосе. — Ведь вам это должно быть вредно...

— Почему «мне» вредно, а не вам?

— И мне, и вам, и всякому, кто ни с того ни с сего пьет такие крепкие напитки на ночь...

— Ну, хорошо, сколько еще нам осталось времени?

Петров посмотрел на часы и сказал:

— Я не знаю, сколько вам осталось. А я через полчаса буду на месте...

— Ну, все равно. Значит, есть еще немного времени, хотя я мог бы вам сказать еще многое, многое... А теперь я все-таки хочу поделиться с вами очень важной идеей или, если хотите, фактом, ужасно странным... Вот в чем дело. Случалось ли вам как-нибудь неожиданно для вас погрузиться в глубочайшую задумчивость, когда в голове как будто не остается ни одной мысли?

— Ну, случалось, — отвечал Петров, сам не зная отчего поглядывая по сторонам. — Что ж из этого?

— В таком состоянии, — продолжал Волховской, понизив голос и взяв Петрова за пуговицу, — в таком состоянии весь мозг как будто бы освобождается от необходимости работать, в особенности если ничего в это время не болит... Тогда что-то внутри вас, ваше внутреннее «я», начинает испытывать особенный отдых, вроде нирваны, точно вы сидите в какой-то тепленькой ванне, в спокойном розовом свете и кругом ни звука!.. Но вот волшебство! В вашем мозговом зеркале вдруг, ни с того ни с сего, начинают отражаться образы и картины, которых вы никогда не видели, ни при каких условиях жизни... Понимаете ли — никогда!.. И

это не цельные образы, не цельные картины, а какие-то обрывки чего-то, точно полустертые, древние письмена, и вы никак не можете уловить их смысл, зацепиться за какой-нибудь узелок, чтобы с ним пройти по этому лабиринту и выбраться из него... Случалось ли с вами что-либо подобное?

— Да ведь вы сами же говорите, что «этого» никогда не было?

— Не было, да не совсем... Не было и даже наверно не было в действительной, настоящей жизни, но «могло» случиться когда-нибудь, в давно прошедшем, скажем, не с вами, с Петровым, а с каким-нибудь нубийским рабом; а может быть, это еще должно случиться в будущем, что еще удивительнее...

— Это все ни более ни менее, как рефлекс нашего мозга, — сказал успокоительным тоном Петров, которому этот совершенно необыкновенный оборот разговора очень не нравился, также как и вид его собеседника, хотя последний выпил и немного...

— Может быть, это даже болезненное явление, — прибавил он осторожно... — Ведь не верите же вы в переселение душ? Наконец, сами же вы говорите, что явления эти совершенно бессвязны...

— Да, бессвязны... Но постойте! — при этом он лукаво улыбнулся и стал говорить еще тише... — Я таки добился своего и поймал, наконец, руководящую нить; правда, очень тоненькую паутинку, но уж я ее держу и не выпускаю... Я теперь кое-что знаю! Но только, пожалуйста, никому не рассказывайте, пока я это не разработал... Вот как это было... Я должен был расстаться с одной особой, расстаться окончательно; иначе нельзя было поступить. Я был очень расстроен: не находил себе, что называется, места... Тогда я решил отправиться в деревню, к своей старой тетке... Она была вдова, дочь ее была где-то замужем и последнее время у нее редко кто бывал... Другим, кто не может найти в самом себе второго человека, с которым можно было бы побеседовать, в ее усадьбе было бы очень скучно, но не для меня... Я нашел в себе этого второго «я» и убежден, что

можно было бы найти даже нескольких... С теткой я проводил мало времени, даже опаздывал иногда к обеду, и все ходил по полям, бродил в лесу, а то забивался где-нибудь в уголок сада и там, сидя на скамье, сидел часами и думал...

Тетка вообразила, что я скучаю, и выписала из Москвы свою дальнюю родственницу, хорошенькую, тоненькую барышню с голубыми глазами... Это для моего развлечения и для излечения от меланхолии... Ну — ничего... Я сначала даже был рад, что у нас в доме завелось молодое существо... Иногда с ней поговоришь, пошутишь; на лодке покатаешься... Вообще, я ее терпел до тех пор, пока у нее не явилась несчастная мысль разыскивать меня в те минуты, когда я хотел уединиться, и мешать мне размышлять... Помню, как-то раз я ушел в лес, туда, где около огромных корней старого дуба бежал узенький, светлый ручеек, уселся на траву и, благодаря тому, что кругом решительно никого не было, моя душа как-то убаюкалась и я, несомненно, впал в то состояние безразличной задумчивости, о которой я вам говорил... И вот волшебные «зеркала» заработали! Я вспомнил какой-то странный берег и огромный океан впереди... Странные высокие и тонкие деревья... Процессию в золотых одеждах... Я — в кольчуге... и вдруг — она, эта девица! «Вот вы, — говорит, — где запрятались? А вот я взяла да и нашла вас! Пойдемте землянику собирать...» Можете себе представить, как я ей на это ответил?!.. Вот когда я понял Архимеда, когда он крикнул ворвавшемуся к нему воину: «Не прикасайся к моим кругам!» Она заплакала и убежала... После этого она уже без тетки ко мне не подходила; они все о чем-то шептались, в конце концов девица разболелась и уехала... Мне было сначала как-то не по себе; но потом я был даже рад...

Второй раз был более удачен... После вечернего чая, когда моя тетка задремала у себя в кресле, я отправился в сад и, усевшись под густой липой на скамье, закурил папиросу и стал мечтать... Был очень теплый вечер, кругом ни души, небо было такое чистое, что луна казалась совершенно близко... Я думал о том, как хороша природа, еще о чем-то и постепенно опять погрузился в ту же глубокую задумчи-

вость... И вдруг я вижу, то есть не то, что вижу, а явственно вспоминаю, что я сижу на краю зубчатого утеса, а там глубоко внизу расстилается долина, вся покрытая травой какого-то голубоватого цвета и большими белыми цветами... Кругом долины стеной идут зубчатые скалы, какие-то прозрачные, так что сквозь них проникал какой-то голубоватый свет... Хотя я сидел на краю обрыва, но меня это несколько не пугало... Я взял да и полетел, хотя у меня и не было крыльев, свободно перенесся через всю долину и прямо попал в какую-то удивительную пещеру, в которой на высоте сидел бледный старик с зелеными глазами. Он встал и начал мне что-то говорить, но... в это время запела, птичка, я встрепенулся и все прекратилось...

— Какая дикая фантазия!—сказал Петров.

— Да; на этот раз я понял все... Я догадался, что я был, где бы вы думали? — На луне!! — Волховской крикнул последнее слово и весело засмеялся. — Теперь, когда восходит луна, мне и приятно, и невероятно страшно... Мне так и кажется, что она меня отслеживает; что кто-то зовет меня туда... Это удивительно!..

Поезд опять остановился... Петров облегченно вздохнул и, наскоро сказав «до свидания», бросился к выходу.

— Пойдите, пойдите; куда вы? Я еще не все досказал, — кликнул, хватая его за рукав... — Дослушайте же до конца...

— Я сейчас вернусь... — догадался сказать Петров.

— Ну, хорошо! Только возвращайтесь скорее; то, что я вам расскажу, будет еще более удивительно...

Конечно, Петров не вернулся... Вместо него через несколько минут в вагон вошел кондуктор, но Волховского там уже не было...

МУЗЕЙ ВОСКОВЫХ ФИГУР

I

— Кажется, подняли занавес, — сказала красивая стройная дама господину средних лет, задумчиво сидевшему на маленьком диване в аванложе, — вы так тихо сидите, что я думала, что вы уехали совсем, не простившись... Пойдемте досматривать «Коппелию».

— Позвольте мне посидеть еще здесь немного, — отвечал Боромлев, — я приду немного погодя; ведь вы не одна; с вами Михаил Иванович; а я, признаться сказать, не особенно люблю третье действие этого балета: оно уже не в жанре Гофмана... Все полуфантастическое, сказочное кончается во втором действии... Да, кроме того, у меня что-то болит голова...

Он остался один... Сквозь закрытую дверь до него глухо доносились изящные мелодии Делиба. Обрывки разных мыслей и отдельные сценки из балета, автоматы, табачерочная музыка второго действия — все это путалось в его голове и таяло, как дым сигары на открытом воздухе. Около их ложи сидела очень интересная молодая женщина, со смуглым лицом, с загадочным и магнетическим взглядом; оригинальность костюма заставляла предполагать в ней иностранку. Она была одна в ложе. Боромлев ее видел несколько раз, и всегда она была одна. В начале представления она бросила ему многозначительный взгляд и, уходя в антракте в аванложу, всякий раз смотрела на него так, как будто приглашая его зайти...

Боромлев потихоньку вышел из своей ложи, несколько секунд постоял перед соседней дверью и потом решительно вошел.

В аванложе сидела она; она тоже не смотрела третьего действия.

— Наконец-то вы решились прийти, — сказала она. — Вы не поверите, как я торжествую! Вы, который называете всех женщин куклами, не устояли, забыли всякое приличие, и прямо пришли объясниться мне в любви... О, я уверена, что вы меня любите! Я сразу заметила, как ваше самолюбивое и холодное сердце смягчилось при первом же моем взгляде...

— Но позвольте!... Почему же вы знаете, что я...

— Я все знаю... Я знаю, что с первой же нашей встречи в этой голове только и живет одна мысль обо мне, а все остальное улетело... Вы совершенно охвачены моим очарованием... Вы везде видите только меня, и не только глазами, но и душой! Вас даже не интересует, откуда я, что я такое... Может быть, я — ведьма. А вам все равно; не правда ли? Хи-хи!

— Позвольте, однако, сударыня...

— Хи, хи! Ну хорошо, нам здесь долго разговаривать нельзя... Я вам назначаю свидание... Приходите завтра в семь часов вечера в музей восковых фигур. Вы называете женщин куклами, а поэтому я приглашаю вас в общество мне подобных...

На следующий день Боромлев наскоро пообедал и поспешил на улицу, чтобы немного глотнуть свежего воздуха и в шумной толпе успокоить свое волнение перед свиданием с загадочной красавицей. Оставалось всего минут двадцать до назначенного часа, когда он направился скорыми шагами к музею, наиболее известному в городе. Подойдя к нему, он был неприятно поражен, увидав, что вывеска не иллюминирована, и маленькая касса, в которой продавали билеты, закрыта. «Она, вероятно, это знала, — сказал сам себе Боромлев, — и нарочно назначила мне здесь свидание, чтобы надо мной посмеяться?.. Да и кто такая — она?.. Вот странно: не могу припомнить — на каком языке она со мной говорила? Очевидно, это была мистификация!»

Волнение сразу улеглось, и сердце охватило тоскливое чувство неразделенной любви. Он уже направился в другую сторону, раздумывая, как бы убить вечер, но не успел сделать нескольких шагов, как к нему подошел бритый старичок с выцветшими глазами и красными веками и сказал: «Вам, мусью, угодно посмотреть музей? Он теперь перенесен на другой угол, по случаю расширения и увеличения зрелищ... О, теперь это настоящий паноптикум!.. Огромное разнообразие для глаз!... Новости и редчайшие экземпляры... Подвижной автомат, играющий в рамс и заводящий собственные золотые часы... Жрица Пифия на треножнике... Мумия фараона Псаметиха... Волшебный стрелок, всегда попадающий в цель... Кроме того, редчайшие аппараты: часы жизни Парацельса и аппарат-гороскоп Нострадамуса, изготовленный его собственною рукою, того самого астролога, который предсказал будущее Катерине Медичи. У нас же редкий номер: “Видения отрубленной головы”, поставленное по картине знаменитого бельгийского художника Виртца... Пожалуйте, это недалеко»...

Боромлев покорно шел за стариком, семенившим перед ним.

— Очень жаль, мусью, что вы не видели у нас крошечлилипутов. Это в высшей степени любопытный феномен природы, но зато, взамен их, у нас показывают удивительную живую нимфу «fin de siecle»*, плавающую сухой в мокрой воде, а что прямо-таки удивительно: это фокусник из Индии; за это платится отдельно...

Эта странная болтовня, да и сам старичок с его неопределенным лицом как-то соответствовали настроению Боромлева, тоже неопределенному и томительному. Не отвечая ни слова, он за ним последовал. Старичок свернул с Невского в одну из поперечных улиц и, доведя его до подъезда, кашлянул многозначительно в руку и, сказав: «Сегодня за вход платится рубль», куда-то скрылся...

Взяв билет вниз, Боромлев стал подниматься вверх, боясь заставить себя ждать: лестница была узка, без ковра,

* Конец века (*фр.*).

а тусклое освещение придавало ей мрачный характер. Входная дверь была тоже неширокая и грязная, не обещающая ничего хорошего, но, войдя, Боромлев переменял мнение в лучшую сторону. Там оказался большой зал, вновь отделанный, в два света. Вдоль средней комнаты шли длинные диваны, обитые темно-малиновым бархатом. Из зала, то там, то здесь, по причудливой фантазии устроителя, выходили в стороны широкие коридоры или большие ниши. С двух сторон, наверху, были устроены на металлических колонках длинные балконы с окнами, в которые были вставлены цветные стекла, освещенные изнутри, что окрашивало потолок разными цветами. Налево от входа, в стене, было так ловко вставлено большое зеркало, что Боромлев удивился, увидав неожиданно самого себя. Такие зеркала были расставлены в разных местах.

В некоторых нишах стояли разные тропические растения и цветы, очень искусно сделанные, а между ними вогнутые и выпуклые зеркала, чрезвычайно меняющие лицо и всю фигуру человека. Восковые фигуры, большей частью в натуральный рост, были так ловко размещены по зале, что не только издали, но и на довольно близком расстоянии могли ввести в заблуждение и заставить предполагать, что в музее довольно много посетителей. Тут были и женщины, и мужчины, одни одетые очень богато, другие в простых домашних платьях, но все в современных модах, и так как только головы и руки их были восковые, а все остальное, начиная от шляп и кончая сапогами и ботинками, совершенно такое же, как и на живых людях, то они и походили на живых; одни сидели, другие стояли в самых непринужденных позах, ничем не отгороженные от проходящих живых посетителей, и только как будто застыли, замерзли в своей неподвижности, как будто адский холод промчался над ними или волна тонкого и очень сильного яда мгновенно прервала их существование. Для посетителя-меланхолика это место представляло то удобство, что он мог потихоньку усесться на одном из диванов, обитых темно-малиновым бархатом, рядом с каким-нибудь восковым Жюлем Фавром, Эдиссоном или Сарой Бернар, и, как

будто прислушиваясь к речам этих знаменитостей, потихоньку умереть от паралича сердца.

II

При входе в музей один из сторожей в черной ливрее, обшитой серебряными галунами, сунул в руку Боромлеву каталог. Боромлев спросил его, много ли публики и не проходила ли молодая красивая дама, со смуглым лицом и большими блестящими глазами. Тот отвечал, что — не помнит, но, кажется, проходила. Посмотрев рассеянно какую-то знаменитую танцовщицу перед зеркалом, отгороженную шелковым шнурком, он прошел поспешно по всему залу, вглядываясь во всех женщин, из коих добрые три четверти оказались куклами, что произвело на него неприятное впечатление. Ее здесь не было... Он обошел все смежные комнаты, но и там ее не было... Затем он повернул назад, вспомнив, что люди, ищущие друг друга, часто идут по одному и тому же направлению и поэтому не могут встретиться. Во время этих поисков, в одной темной проходной комнате, слабо освещенной зеленоватым светом, ему послышалось, что кто-то его зовет по имени; знакомая женская фигура мелькнула за колонной; он ускорил шаги, но ее там не было; около стояла танцовщица в испанском костюме, держа в неподвижной руке веер. Вдали, направляясь к выходу, шел какой-то военный, ведя под руку толстую, пожилую даму. Этот обман повторился несколько раз. Боромлеву казалось, что он видит свою незнакомку то в той, то в другой стороне, и всякий раз, приближаясь, он убеждался в своей ошибке. При этом зеркала еще более вводили его в заблуждение. Бесплодное метание из стороны в сторону его взволновало и утомило. Очевидно, она еще не пришла...

Публика все уходила и уходила, а новых посетителей было мало, хотя до закрытия музея оставалось еще часа два с лишком. Боромлев решил запастись терпением и ждать.

Он уселся в углу на одном из диванов и погрузился в задумчивость. В двух шагах от него, на том же диване, сидел восковой господин, с застывшей улыбкой на восковом лице. На коленях у него лежала раскрытая книга, которую этот господин прижимал к колену восковой рукой. Хотя у Боромлева в кармане лежал каталог, но он не поинтересовался справиться, что это за знаменитость; от нечего делать он стал смотреть в неподвижные зрачки воскового человека, но через какую-нибудь минуту мурашки забегали по его телу; он быстро отвел взор на другого господина, в светлом пальто, грациозно опиравшегося на толстую трость и весело смотревшего в его сторону; Боромлев принял его сначала за знакомого, но неподвижная улыбка вывела скоро его из заблуждения — это тоже была «фигура». Ему стало еще более неприятно и жутко; на счастье, как раз увидя его, на кушетке стиля ампира, села очень красивая дама с лорнетом в руке и с любопытством рассматривала Боромлева, принимая его, вероятно, за «фигуру». Он с негодованием громко кашлянул, чтоб дать ей понять ее ошибку, но дама продолжала нагло на него смотреть... «Ах, ты, черт возьми, и это кукла!» — подумал он. С удовольствием разыскав глазами одного из служителей, стоящего неподалеку у боковой двери, он поманил его рукою к себе. Тот не двигался. «Поди сюда, любезный!..» — сказал Боромлев, но служитель тоже был восковой и продолжал стоять на месте, как ни в чем не бывало. Только где-то в стороне слышались шаги, а поблизости не было ни одного живого существа; шаги же становились все тише и тише...

Когда отдаленный шум утих, Боромлев вдруг услышал рядом с собой какой-то шорох. Он стал смотреть на своего соседа и ему стало казаться, что под восковой кожей его лица медленно и осторожно бежит кровь и что в его карих зрачках пробегают какие-то искры. Затем эти глаза начали как будто оживляться, и точно могильный огонек загорался в зрачках, а под сюртуком, в том месте, где у настоящего человека находится сердце, что-то медленно зашевелилось. Неподвижные складки лица стали расправляться и вдруг нижняя губа слегка опустилась. Боромлев в ужа-

се хотел отвернуться, но все члены его оцепенели, и он сидел точно прикованный.

В это время на пороге внутренней лестницы показалась, наконец, смуглая дама, которую он так долго ждал, и кивнула Боромлеву. Он хотел встать, но не мог; зато его восковой сосед неожиданно вскочил, быстро, почти бегом, направился к ней, подал ей руку и оба исчезли. Он сделал опять попытку встать, но это было невозможно; даже дыхание в нем остановилось. Проходили, как ему казалось, часы, а он не мог шевельнуть пальцем. Глаза его затуманились от страха. Наконец где-то далеко зазвонил колокольчик, ему в ответ другой — поблизости, затем сразу зазвонило несколько колокольчиков, и все куклы сразу двинулись со своих мест и побежали по внутренней лестнице наверх. Боромлев страшно вскрикнул и очнулся. К нему подошел сторож и сказал: «Музеум скоро закрывается, господин, а та дама, о которой вы спрашивали, поднялась наверх, к индейскому фокуснику». Он вскочил; воскового господина возле него уже не было; на спинке дивана был только поставлен номер.

— А где же № 132? — спросил он.

— Он сломался еще за границей, — отвечал швейцар, — и еще не замещен.

— А в каталоге его нет?

— Нет; его нет в каталоге, и мы не знаем, кто это такой...

Остальные фигуры по-прежнему стояли на своих местах. Боясь опоздать, Боромлев быстро стал подниматься наверх, по внутренней лестнице. Оттуда, сверху, доносились звуки музыки.

Сбоку широких дверей, ведущих в верхний зал, был повешен большой транспарант, на котором огненными буквами было написано: «Бал автоматов. Посетителей просят при входе опускать в кружку серебряный рубль». У дверей стоял большой черный негр и весело сверкал своими белыми зубами. Боромлев опустил рубль, дверь отворилась и тотчас же за ним захлопнулась. Бал, очевидно, был в полном разгаре. Невидимая музыка (должно быть, это был

очень хороший орган) играла шумный парижский вальс и несколько пар отчетливо и плавно вертелись по залу. Пас-тушка танцевала с каким-то генералом в кирасирской форме, маркиза с Мефистофелем, древний старик с взъерошенными волосами бодро вертел первую балерину в коротких газовых юбках и в розовом трико. В одном из освещенных углов красивая полная дама обмахивалась веером, два кавалера, наклоняясь к ней, что-то ей говорили, и все время смеялись в такт вальсу, — и везде были группы гостей в самых разнообразных позах и все они шевелились и старались шуметь, сколько это было возможно.

Маленькие негры носили зеркальные подносы с прохладительными, и эти прохладительные отражались в зеркальных подносах. Негры ловко лавировали между танцующими парами и ни разу никто на них не наткнулся и никто ничего не брал. Видимо, все так рады были танцам, разговору и смеху, что никто не чувствовал жажды. Он заметил рядом с собой почтенного господина средних лет, во фраке и с ленточкой в петлице, который с удовольствием смотрел на танцующих, с некоторыми раскланивался и, выбивая такт ногой, без церемонии надувал щеки и сиплым баритоном подпевал мотив вальса. Так как по всем этим приемам можно было заключить, что господин во фраке знал все, что здесь делалось, то он его и спросил: «А позвольте узнать, где же здесь автоматы?» Но господин, весело кивнув головой, ничего не ответил и продолжал надувать щеки. Тогда Боромлев стал пробираться вдоль стены к другому господину, сидевшему на стуле, и нечаянно толкнул негритенка с подносом; стаканы с прохладительными зазвенели, один из них упал на пол, но ничего из него не пролилось; негритенок остановился и недоумевающе стал смотреть в стену. Тогда Боромлев понял, что это все автоматы, и господин, к которому он обратился с вопросом, был тоже искусственный человек. Ему стало невыразимо страшно; гораздо страшнее, чем в музее неподвижных фигур, потому что кругом него была не настоящая жизнь, а только искусное подражание жизни, лишенное всяких чувств. Таинственная и невидимая рука мастера пустила в движе-

ние эти куклы, заставила их говорить и смеяться, танцевать под музыку и делать вид, что им страшно весело, тогда как материалам, из которых они были сделаны, было решительно все равно, что кругом происходит. С тоской и ужасом он стал оглядываться кругом, ища глазами хоть одно живое лицо и твердо решившись не поддаваться иллюзии, а найти действительно настоящего человека.

Для этого, прежде всего, надо было уйти отсюда; дверей было двое и, как нарочно, он забыл, с которой стороны вошел. Выбрав наугад ближайшие двери, он решительно к ним направился, с отвращением сторонясь от вертящихся деревяшек и боясь к ним даже прикоснуться. Он схватил за дверную ручку и дернул. Кто-то не пускал с другой стороны; тогда он напряг все силы и дернул еще раз. Раздался шум и металлический звон, как будто лопнула большая спиральная пружина; все автоматы сразу остановились — и дверь открылась. Там, в небольшой комнате, около большой занавеси, из-за которой пробивался свет, стоял индийский фокусник, — высокий, худой и смуглый человек с длинными черными волосами и тусклым взглядом. На нем была длинная темная рубашка без рукавов, перевязанная в поясе шалью, и туфли с острыми концами. Повелительным жестом он остановил Боромлева против занавеса и взмахнул черной тростью. Занавес раздвинулся, и он увидел свою таинственную красавицу, связанную по рукам и по ногам... Она была страшно бледна и в отчаянии на него смотрела... Но Боромлев не мог тронуться с места: взгляд фокусника приковал его.

— Сейчас будет представляться самый интересный номер! — прокричал чей-то гнусавый голос, — «видения отрубленной головы!» Пожалуйте, господа, пожалуйте!!

В комнату быстро сбегались все автоматы, танцевавшие перед ним в зале, и с бездушным любопытством ожидали, как будут резать голову у живой женщины.

Индус опять взмахнул рукой; все затихло; он поднялся по ступенькам к связанной женщине и, схватив ее за волосы, глухим голосом и с расстановкой сосчитал по-английски: «one, two, three...». Сверкнуло лезвие ножа, брызнула

кровь и голова отделилась от туловища. Глазами, полными ужаса, смотрела она на Боромлева, а губы явственно проговорили: «Клянусь, я жива; спасите меня!»

— Голова отрублена и сейчас начнутся видения; самое интересное! — опять раздался голос.

Боромлев бросился на эстраду и опять очнулся... на этот раз в аванложе.

— Что с вами? — спросила его дама, выходя из ложи. — Нельзя так задумываться... Вы проглядели очень интересное действие. Что за очаровательный балет «Коппелия»? Не правда ли?.. Но я вижу, что вы думаете о чем-то другом... Прикажите, по крайней мере, подать мне шубу и отвезите меня домой. Спектакль кончился...

ПАГАНИНИ

I

Ко дню рождения маркизы де Тревиз из окрестностей съехалось довольно много гостей. Изобретательная и веселая баронесса де Ланноа, кузина маркизы, придумала по этому случаю целый ряд развлечений.

Замок де Тревиз находился в восточном Руссильоне. Местность здесь очень живописна. Лесистые ущелья и горы кое-где перемежаются обнаженными скалами. Текут быстрые речки; то там, то здесь, в зелени дерев, скрываются развалины старинных крепостей и замков, где обитали когда-то бароны-рыцари, столь же известные своей храбростью и благородством, сколь необузданными страстями и жестокостью. С некоторых из ближайших вершин видно голубое море, в котором то отражается пламенное солнце юга, то луна, блестящая, как щит Тезея.

Я познакомился с маркизой в Париже и сразу сумел ей понравиться. В течение двух месяцев мы очень часто с ней виделись. Несмотря на свою скромность и красоту, молодая вдова довольно ясно выказывала мне свое расположение, но, боясь почему-то сильного чувства, я держался с ней нерешительно и даже холодно. Тем не менее, уезжая весной в свое поместье, маркиза взяла с меня обещание, что я непременно приеду в Руссильон. В день отъезда она смотрела на меня с немой грустью и с тем загадочным чувством, которое свойственно только одной женщине...

Прошло три месяца, и только когда я получил вторичное, письменное приглашение, я устроил свои дела и выехал на юг.

Последнее время Париж мне стал надоедать; я был нездоров и хандрил, и поэтому искренне обрадовался приглашению. В дороге я чувствовал себя все лучше и лучше,

по мере приближения к цели путешествия. Голубое небо и жгучее солнце юга настолько благотворно на меня подействовали, что серые думы, которые постоянно гнездятся в душе северянина, постепенно стали от меня отлетать. Справедливо кто-то сказал, что смерть и солнце не могут глядеть пристально друг на друга.

До праздника я не видел маркизы; вследствие сильной головной боли она не выходила к гостям, и роль хозяйки исполняла баронесса де Ланноа, очень живая и кокетливая брюнетка, у которой остроуты и шутки так и сыпались. Из гостей первым, с кем я познакомился, был некто Гюг де Тюрто, приехавший одновременно со мной в замок. Знавшие его по Парижу очень удивились его появлению, потому что считали его давно умершим. Несколько лет тому назад он уехал путешествовать на Восток и уехал так же неожиданно, как неожиданно вернулся.

Это был высокий и сухой старик, очень подвижный, всегда гладко брившийся и улыбавшийся большой и холодной улыбкой. В тех случаях, когда он говорил о чем-нибудь серьезном или грустном, у него как-то особенно вздрагивали веки и складки около носа, что придавало всему лицу выражение горькой и глубоко затаенной насмешки. Манеры у него были весьма изящны; в костюме он соблюдал старую моду.

За первым же обедом мы разговорились. Политика его не занимала и в общественной жизни его всего более интересовали искусства, в особенности музыка. Блистательное процветание последней при Бонапарте он считал единственной заслугой Империи.

— *La musique sous l'Empire, quelle période glorieuse!** Гретри, Мегюль, Спонтини, Керубини! Что за имена, monsieur, что за имена! Вы подумайте только, на таком маленьком пространстве времени — целые десятки композиторов! Вы понимаете, какое тут должно было возникнуть соревнование и какая зависть? Сколько тут было пота, крови, волнения, бессонных ночей, насмешек, яда, не того яда, за кото-

* Музыка времен Империи, какой славный период! (*фр.*).

рый преступников ссылают и казнят, а которым отравляется всякая интрига соперника: яд в словах, который непременно убивает частичку чувствительного артистического сердца. Все это я видел, слышал и наблюдал! Подумайте только, monsieur, как это интересно и забавно. В жизни я не видал ничего занимательнее музыкантов. Это натуры не прямые, не кривые, а какие-то спиральные, страстные до чрезвычайности и в то же самое время бессильные, как дети; иногда великодушные, а в то же время завистливые до последней степени. Хороший музыкант — это, можно сказать, сама зависть, и если бы я был скульптором, то я непременно изобразил бы ее со скрипкой или с флейтой в руках. Иногда мне приходилось слышать от моих друзей-музыкантов очень умные мысли, а, между тем, они сами очень часто бывают глупы, потому что никогда не бывают в состоянии оценить свою музыку. И это понятно, monsieur, — добавил Тюрто, выпивая рюмку старого ривезальца, — потому что музыка не есть практический язык, а язык богов, и плохой композитор не виноват, если его бог не умеет хорошо разговаривать...

II

В день рождения маркизы с самого утра началась сильная жара. В полдень зной стал положительно нестерпим. Казалось, что с небосклона лилось пламя. Когда мы пришли поздравлять маркизу, то она опять была бледна и жаловалась на головную боль. На этот раз было от чего, до того воздух становился удушлив и тяжел. Какая-то серая мгла рисовалась на горизонте, не предвещая ничего хорошего. Мы все ходили точно вареные. Только у фонтана, да, может быть, в подвалах замка можно было найти прохладу. Тем не менее за обедом, который был сервирован ранее обыкновенного, мы все развеселились, а когда за здоровье хозяйки было выпито несколько стаканов рокевера и фронт-

тиньяна, а затем и шампанского, то обычные французские шутки и смех посыпались со всех сторон.

За обеденными разговорами мы и не заметили, как неестественная темнота стала ложиться на белую скатерть, на цветы и на лица собеседников. Прислуга стала зажигать канделябры, а в то время, когда дворецкий докладывал маркизе, что, вероятно, будет гроза, раздался удар грома, который долго гремел вдали, в горах, а затем подкатился ближе и замер над замком. Вслед за тем неподвижный воздух сразу заколебался, загудел, засвистал, поднимая к темнеющему от облаков небу вертящиеся столбы пыли. Наконец, казалось, сорвался бог ветров. Он дунул своей могущественной грудью на нас — и голубого неба как не бывало. Наступила предгрозовая тьма, все еще душная, но уже свежая, подобная глубокой, ужасной ночи, озаряемой по временам белыми вспышками отдаленной молнии. Все чувствовали себя тревожно, разговор стал умолкать...

— Каково-то теперь путешественникам, которых застигнет подобная погода на пути, — сказал Тюрто, — в этих местах дороги очень опасны и в такую бурю легко упасть в овраг вместе с экипажем.

При этом я заметил, что его лицо при каждой вспышке молнии нервно улыбалось, а глаза светились каким-то зеленым светом.

Только что Тюрто сказал об опасности езды по здешним дорогам, как вошел дворецкий и доложил маркизе, что двое путешественников, один очень молодой, а другой постарше, упали вместе с каретой в речку и хотя, слава Богу, ничего себе не повредили, но продолжать путешествия больше не могут и просят оказать им гостеприимство на одну ночь. Маркиза, конечно, тотчас же приказала отвести им комнату в западной башне, рядом с моим помещением.

— А что это за путешественники? — спросил Тюрто.

— Ах, monsieur, — отвечал дворецкий дрожащим голосом, — если б не доброта маркизы, то я ни за что бы их не пустил, в особенности старшего, до того его наружность не внушает мне доверия. Во-первых, он бледен, как выходец с

того света: глаза блестят, как у десяти бандитов, и сам худ, как черт. Другой еще юноша и похож на женщину. Но ведь это ничего не значит, и мальчики бывают злодеи.

— Ну, полноте говорить вздор, — сказала де Ланноа, — нельзя же бедных людей оставлять в поле в такую погоду.

В это время дождь полил как из ведра и гром беспрерывно гудел. Сильный ветер налетал по временам, деревья трещали, окна дребезжали... Обед, между тем, кончился, и баронесса сказала:

— Что же мы, однако, сидим, как сонные мухи? Давайте веселиться! Сейчас же будем танцевать под звуки музыки и грома... Веселья, побольше веселья!!

В соседней зале заиграла музыка, и мы бросились танцевать, решившись веселиться в честь маркизы, наперекор погоде. Здесь были зажжены люстры, спущены занавеси у окон и на грозу не обращали внимания до тех пор, пока сильный и неожиданный напор ветра не распахнул большого готического окна, должно быть, плохо притворенного. Стекла посыпались, и в залу широкой волной ворвался шум и гул непогоды. Казалось, вся природа бранилась и разговаривала на непонятном языке. Небо гремело, свистел ветер, по деревьям шел ропот и шум.

И вдруг сквозь весь этот хаос звуков раздалась дикая, свирепая песнь без слов. Точно сам дьявол играл на каком-то небывалом инструменте. Сначала это были отрывистые звуки вроде злобного хохота, вырывавшегося из нечеловеческой груди. Затем звуки перешли в стон, вопль, то пронзительный, то вдруг падающий на низкие тоны; но, при всей их дикости, в них была гармония, которая со страшной силой сразу охватила всех присутствовавших... Тревога и недоумение отражались на всех лицах. Что бы это такое могло быть? Не буря ли это, забравшись в трубу или в разбитое окно соседней башни, спела свою дикую и короткую песнь, никогда не повторяющуюся в тех же тонах? Но нет, дикая песня не прекратилась. После странной и великолепной гаммы зазвучала новая мелодия, похожая на танец, прерываемая короткими взрывами злобного хохота, как будто ведьмы плясали в присутствии самого сатаны.

Очевидно, это играл какой-то необыкновенный инструмент, извлекавший по временам звуки, похожие на скрипку, по временам — на человеческий голос удивительной звучности и проникновения. Мы бросились в соседнюю комнату, по странной случайности освещенную очень слабо. Здесь стало ясно, что звуки исходят из комнаты в башне, отведенной для неизвестных путешественников. Вероятно, шум наших шагов был услышан; полупритворенная дверь распахнулась; оттуда вышла молодая женщина с большими черными глазами и сказала:

— Это играет синьор Николо... Мы очень благодарны за гостеприимство...

III

Синьор Николо стоял в дверях и, не глядя на нас, продолжал играть. Только легкая усмешка скользнула по его тонким губам...

Он был очень худ, а узкий фрак и черные чулки еще более выставляли его худобу; его длинная фигура во время игры изламывалась и извивалась, как у призрака. Сходство с призраком увеличивалось еще благодаря трупной бледности его лица, обрамленного длинными, слегка вьющимися черными волосами; только удивительно подвижные и блестящие огнем черные глаза оживляли это лицо. Большой орлиный нос, саркастический и глубоко ввалившийся рот, впалые щеки, на которых глубоко выделялись две длинные складки, напоминающие «эсы» скрипки, — все это было чрезвычайно оригинально.

Он продолжал играть, и все кругом затихли и замерли, сразу почувствовав, что присутствуют при чем-то необыкновенном!.. Это были вариации на какую-то адскую мелодию. Впоследствии я узнал, что это были вариации на танцы из балета «Stryges», но мелодии были совершенно пересозданы этим гениальным человеком. Он стоял перед нами, как какое-то чудесное видение. В то время, как маги-

ческий смычок в его правой руке заставлял говорить злых духов, заключенных в скрипке, кисть левой с необычайной ловкостью и гибкостью прыгала и носилась по струнам, налетая на них как царственный орел на добычу. Лицо его выражало то отчаяние, то иступленную радость, то страдание души, увлекаемой к гибели беспощадной судьбой...

Гроза, между тем, стала утихать... Гром удалялся все далее и далее; менее шумел ветер; сквозь разорванные облака стало проглядывать синее небо и неожиданно луна забелелась в окне. Тогда на лице музыканта появилось успокоение, взгляд стал нежнее и, закончив первую часть несколькими могущественными аккордами, он заиграл нежно и плавно благодарственный гимн природе и ее Создателю... Злой дух был побежден, и невидимые ангелы слетелись кругом...

Никогда я и не подозревал, что инструмент может так звучать в человеческих руках... Я бы мог сказать, что скрипка у этого человека, казалось, держалась сама собою, висела на воздухе, что быстрота и сила в его пальцах, а также верность уха были поразительны, что все пассажи поражали своей неподражаемой чистотой, но это ничего бы не выражало, и все настоящие замечания удержались в моей памяти безотчетно, а тогда я только испытывал необыкновенное душевное настроение. Я ничего тогда не понимал; я только чувствовал; я сам обратился в живой инструмент, дрожавший всеми своими частицами при каждом ударе смычка этого очарователя, наслаждавшийся и страдавший по его воле. Этот злодей шел на меня со всей беспощадностью своего божественного таланта, как ураган, только что промчавшийся над замком, как Тамерлан с огнем и мечом, как сотня дьяволов, со всеми ужасами и соблазнами ада...

Один из лакеев, для которого, вероятно, музыка не существовала, внес большой канделябр с зажженными свечами, но стоявшая возле меня дама так грозно на него шикнула, что я сначала даже не догадался, кто это. Обернувшись в ее сторону, я увидел совершенно «незнакомое» мне лицо, — бледное, с расширенными глазами, в которых бли-

стало то чувство наслаждения, которое вспыхивает только в глазах женщины. Все это лицо было охвачено неподвижностью; каждый фибр его был как бы заколдован чудной музыкой артиста, и все вместе изображало восторг и любовь и поклонение...

Это была маркиза. И я почувствовал мгновенно страшную зависть, ревность, и все это вместе соединилось в затаенный гнев. Мне вдруг показалось, что меня страшно кто-то обманывает. Я заметил, уже не знаю как, что музыкант смотрите на маркизу, и прочел в ее глазах миллион обещаний. Каким образом такой изящной женщине, как маркиза, мог понравиться этот дьявол?

Проведя последний раз смычком по струнам, музыкант отер рукою лоб, сказал хриплым голосом «basta», еще что-то пробормотал, сел на стул и нервно улыбнулся.

Демон, ему помогавший, казалось, отлетел от него, и он теперь принял странный, какой-то робкий вид. Скрипка в его усталой руке казалась разбитым щитом в руках бойца. Маркиза смотрела на него как очарованная; ее же легкомысленная и веселая кузина подлетела к музыканту и стала восторгаться:

— О, несравненный артист! Ведь это чудо, прелесть, восторг, то, что вы играли!.. Чьи это пьесы?

Скрипач нахмурился и отвечал:

— Это все равно... Когда я их играю, то они «мои»...

— Вы нас всех очаровали!.. Как зовут вас?

Он молчал.

— Его зовут Паганини... — сказал Тюрто, выдвинувшись вперед и широко улыбаясь. — Здравствуй, друг Николо!.. Ты не ожидал меня здесь встретить?

Паганини изменился в лице и что-то пробормотал.

Мне уже приходилось слышать от путешественников по Италии это имя. Любители рассказывали про него чудеса.

— Mesdames et messieurs, — продолжал Тюрто, — рекомендую вам: синьор Николо Паганини, когда-то первый скрипач в Лукке, при дворе принцессы Елизы Бачиоки. Я его знал в Италии более как любителя карт и никак не ожидал, чтобы он так играл на скрипке... Он играл в карты, как

черт, а черт завистлив и стал его обыгрывать... Вероятно, это и заставило его вернуться к инструменту. Явление исключительное. Так, может быть, и стоит играть. Такой игрой можно укротить бурю на океане... Не правда ли, князь? — прибавил Тюрто, весело улыбнувшись и скользнув взглядом по лицу маркизы.

Но тут произошло странное явление. Паганини уронил голову на грудь, отклонился на спинку кресла, в котором сидел, и закрыл глаза...

— Что с ним?! — встревоженно спросила маркиза. — Ему дурно!.. Вам дурно?

При звуке ее голоса Паганини открыл глаза; в них отразилось восхищение.

— О, meravigliosa apparizione!* — прошептал он и вновь закрыл глаза.

— Оставьте его, signora, — отвечала за него молодая итальянка, бросая мрачный взгляд на маркизу. — Это от грозы... Он вчера ее еще предчувствовал и не спал целую ночь. Позвольте нам воспользоваться вашим гостеприимством и отдохнуть.

Мы их оставили и вернулись потихоньку в залу.

— Как он красив!.. Как он удивительно был красив! — говорила вполголоса маркиза своей кузине.

Остаток вечера маркиза только и говорила о Паганини и на мои ухаживания, особенно нежные на этот раз, обращала мало внимания. Перед тем как расходиться спать, она меня даже просила зайти к музыканту и узнать об его здоровье. Однако мне не удалось поговорить с ним. В дверях я встретил выходящего от него Тюрто, который мне сказал:

— Вы к нему... Я был уверен, что вы к нему зайдете, но его нельзя видеть. Он нездоров и спит. Если вы не верите, что он спит, то посмотрите!

Я приотворил дверь. Паганини лежал полураздетый на софе со сложенными на груди руками и, благодаря своей бледности, походил на мертвеца. Его спутница Антония сидела у его ног и смотрела на него печально и мрачно.

* О, чудесное видение! (*итал.*).

— Не правда ли, он походит на труп? — говорил мне Тюрто, провожая меня в мою комнату. — Вот «удивилась» бы наша великолепная маркиза, если бы узнала, что у нее в замке гостит покойник... хо, хо!.. А она-то в него, вы заметили, сразу влюбилась... Это бывает редко, но случается... Ее сердце заключено теперь в его скрипке, как голубь в когтях у ястреба... Что вы так бледны и печальны, князь? Вам нездоровится? Если позволите, я немножко у вас посижу...

Он уселся против меня в кресло и налил себе и мне по полному стакану вина. Тут я заметил, что Тюрто имел вид человека, выпившего лишнее...

— Обыкновенно говорят, — продолжал он, — что нельзя гнаться за двумя зайцами, и человек, предавшийся музам, должен соблюдать умеренность; иначе ничего не достигнешь... Паганини составляет исключение... В ранней молодости он увлекался азартной игрой до того, что даже проиграл скрипку великолепного Гварнери, которую ему подарил в Ливорно один француз. Я с ним познакомился в одной таверне, когда без денег, без скрипки, он проклинал свое существование и говорил, что заложит свою душу черту, если его полюбит какая-нибудь знатная и красивая дама. И что же? Одна графиня не только его полюбила, а прямо-таки похитила и три года удерживала его в своем замке. За эти три года она до того ему надоела, что он опять клялся перезаложить свою душу, лишь бы ему вернули его скрипку... И что же? Скрипка вернулась (заметьте: неизвестно, кто ее принес), и артист бежал от своей Цирцеи. Но говорят, что это был уже не Паганини, а только труп его, в который вселился один из слуг сатаны. С этого времени он начинает метаться из стороны в сторону, неожиданно уезжает, иногда ночью, из одного города в другой; то он в Италии, то в южной Франции, то неизвестно где... Говорят, что он связан с шайкой бандитов какими-то преступлениями... А вы заметили, князь, как «она» на него смотрела? Как это все странно: если бы женщин не было, не было бы и искусства, а между тем никто так не губит искусство, как та же женщина... Вот и подите!.. Но вы, кажется, утомились,

слушая мою старческую болтовню. Засните, засните, дорогой мой...

Не знаю, долго ли он еще говорил, но я не заметил, как он вышел...

IV

.

Я безумно влюбился в маркизу, а она ко мне охладела. Я безумно сожалел, что, умея играть на скрипке, я не сделался виртуозом, т. е. не продался так же точно сатане, как Паганини... Я унизился до того, что на коленях объяснялся с маркизой, просил у нее в чем-то прощения, но мои мольбы были встречены вежливо, но холодно. Она скоро уехала под каким-то предлогом в поместье своей кузины, меня туда не пригласили, и я впоследствии узнал, что она направилась далее, на юг, чтобы вновь встретиться там с Паганини.

Я был в таком отчаянии, что не знал, что делать, и остановился на фантастическом плане заняться скрипкой, достичь такого же совершенства, как и мой соперник, и рано ли, поздно ли отомстить маркизе за отверженную любовь. Я вспомнил, что мой учитель Джиовани Коста, брат известного скрипача, долго живший в России, находится теперь в своем родном городе — Генуе, и решил туда к нему отправиться. Я скоро собрался и после долгого путешествия прибыл в Геную. Там у меня открылась рана, полученная мною на дуэли в Париже, и я не мог выйти из гостиницы, а должен был лежать. Мой бывший учитель сам ко мне приехал. Я ему обрадовался, как старому другу, и рассказал все, что было у меня на душе...

— Если бы вы, молодой князь, — сказал он, нюхая табак, — не были больны, я бы рассмеялся или бы рассердился за то, что вы потешаетесь надо мной, стариком, рассказывая мне какие-то пустые истории... В чем в сущности

дело?.. Какая-то дама вас любила или показывала вид, что вас любит. Вепе... А вы на это не обращали внимания, думая, что она всегда будет ваша, когда вы того захотите... Лошадь думает одно, а кто ее седлает — другое... Benissimo... Вдруг приезжает Паганини, артист действительно замечательный, и она в его влюбляется и даже за ним скачет... Удивительно, но возможно! Из ваших бессвязных рассказов я вижу, что игра этого человека вас потрясла, подействовала на те артистические струны, который еще звучат в вашем легкомысленном сердце, и вам стало жаль, что вы не учились как следует. С первого взгляда это все-таки пустяки... Но вы из-за этого даже едете сюда, в Геную, и ищете у меня утешения: это уже не пустяки... Ясно, что тут есть что-то таинственное, непонятное... Вас сглазили, и это сделал Тюрто. Представьте, я его припоминаю. Это был такой злодей и iettatore...^{*} Я его отлично помню в Неаполе: он был заколот кинжалом и все говорили, что он умер. Между тем, по вашему описанию, это он и, значит, он не умер... В заключение — я объясню вам ваше чувство: в вас проснулась адская зависть и адская ревность к той, которая никогда уже не будет такой, какой она могла бы быть, если бы Паганини не приехал, а вы не были бы дилетантом в любви, каким вы всегда были в нашем великолепном искусстве... Поэтому я вам советую забыть эту женщину, забыть любовь к ней, — любовью занимаются одни бездельники, — и отправиться путешествовать куда-нибудь подальше... Вы больны, и путешествие лучшее лекарство от вашей болезни. Пройдет время и все сгладится... Через сто лет все будем в раю, как говорят испанцы...

1896 г.

^{*} Человек, насылающий порчу, «с дурным глазом» (итал.).

ОНА

I

Это было зимой одного из революционных годов, когда каждый день приносил с собой вести о новых заговорах, покушениях, убийствах, арестах, вооруженных столкновениях и тому подобном. Естественно, что наши беседы с С-вым велись на разнообразные темы, соответственно переживаемым моментам, т. е. не только о самой революции, но и об явлениях, почти всегда ее сопровождающих, т. е. о повсеместных разбоях, о падении нравственности и религии и вообще об усилении разврата даже среди подрастающих поколений. Я, между прочим, обратил внимание С-ва на появление, судя по газетам, целой стаи колдунов и колдуний, под разными названиями ясновидящих, гадалыщиц, хиромантов и тому подобных... По этому поводу С-в заметил, что прежде полиция успокаивала воображение обывателей простым способом, запрещая волшебникам и гадалыщикам печататься в объявлениях, а теперь некому за этим следить; тем не менее, те и другие существовали и прежде, и что не все между ними жалкие обманщики, а попадаются интересные субъекты и что чувство чудесного охватывает теперь все сферы общества...

Служебное положение С-ова последнее время ставило его в весьма тяжелые условия; кроме постоянной опасности, он был завален работой и часто находился в разъездах. Поэтому я не мог претендовать на него за то, что он стал реже у меня бывать, хотя отсутствие такого интересного собеседника, как он, было весьма ощутительно в мрачные и тревожные дни, которые мы тогда переживали. Между тем, промежутки между его посещениями становились все продолжительнее и странное дело... он все менее и менее говорил о происходящих событиях, подробности которых ему

были лучше известны, чем многим, а, напротив того, любил отвлекаться в сторону любви, чувств и загадочных движений человеческого духа... Я сильно подозревал, что С-ов, по необъяснимым для меня причинам, стал часто посещать разных кудесников, неожиданно нахлынувших в нашу столицу. Хотя он сам в этом не признавался, но только этим предположением я мог объяснить, что его рассказы становились все страннее и загадочнее, хотя, несмотря на их бессвязность, в них и было что-то интересное; при этом он нередко прерывал речь, не окончив рассказа, смотрел на часы, хватал торопливо шляпу и уходил не простившись... Я всегда замечал у него некоторые странности, но все-таки в общем он был скорее здоровым человеком. Последнее же время он заметно похудел и осунулся и часто, сидя у меня, задумывался... Перед последним посещением он пропадал целый месяц и за это время еще более переменился... На этот раз он заговорил о своей судьбе.

— Мне было предсказано, — сказал он, — что я буду любить трех женщин и что все они умрут необычной смертью...

— Кто же вам это предсказал?

— Это все равно... Но факт тот, что моя двоюродная сестра утонула, а Зинаида, как я вам уже рассказывал, погибла не так давно при самой драматической обстановке. Первая моя любовь была какой-то фантастической сказкой, а моя кузина — принцессой этой сказки... Она утонула в том самом пруду, на берегу которого, очарованные теплой, лунной ночью, мы первый раз поцеловались... У нее были глаза голубые и задумчивые, точно два глубоких горных озера... Зинаиду я полюбил прежде всего за то, что у нее были такие же глаза, только как будто еще синее и еще задумчивее... На ее портрете, прекрасно исполненном каким-то иностранным художником за год до ее смерти, особенно удались глаза... Он висит у меня в кабинете и при известном освещении эти глаза иногда оживают, загораются синим огнем. Я подолгу смотрел в них и, сливаясь с их взором, старался в нем прочесть те затаенные мысли, которые она не досказала мне при жизни...

После смерти этих двух женщин у меня ничего не осталось, что меня привязывало бы к жизни... О своем благополучии я совершенно не думаю; я весь отдался службе, а мои обязанности при князе отнимают у меня массу времени; мне некогда даже думать об опасностях, которым я иногда подвергаюсь... Когда же мне выпадают редкие свободные минуты, то отдых мой заключается в том, что я, сидя в мягком глубоком кресле, что-нибудь читаю или мечтаю...

— О чем?

— О таких вещах, в которых в обыденное время мы видим только один обман и заблуждение.

С-ов помолчал с минуту и потом продолжал:

— Уже довольно давно я стремлюсь освободиться от господства тела и сократить материальные потребности до минимума и, как это ни было трудно сначала, но последнее время я этого достиг и это заметно усилило деятельность моего духа... При обыкновенных условиях духовные силы человека далеко не все проявляются... В сущности же они только связаны, и поэтому никто не подозревает, насколько они могут быть могущественны. С течением времени я все более и более в этом убеждался... Чем более я подавлял свое телесное «я», тем более выступало вперед духовное, но так как моя воля еще не научилась сдерживать и управлять этой более могущественной частью моего существа, то это духовное «я» иногда, точно разбушевавшись, проявляло, совершенно помимо меня, свою особую силу...

— Например, в чем же?

— Прежде всего, в ясновидении... Например, во время завтрака у князя, я увидел за спиной генерала К*, смерть которого так всех поразила, фигуру в сером, которая, постояв, исчезла... Затем, когда К* нечаянно брызнул водой на свой сюртук, то водяные капли явственно покраснели, и хотя убийца был обнаружен полицией, но в этом деле, как теперь известно, была еще замешана какая-то женщина в «сером», которую так и не удалось разыскать... Я тогда же сказал князю, кто К* будет убит...

— Отчего же не было принято мер к его спасению?

— Тогда я и не видал бы фигуры в сером и капель крови... Судьбу переменить было нельзя... Другая способность, которая во мне начала проявляться, это угадывание на расстоянии мыслей того лица, о котором мне надо было что-нибудь узнать, а также внушение ему своих мыслей; в последнем случае иногда, не знаю почему, передо мной являлся дух этой особы... Большей частью это была женщина... Я видел их неясно, каким-то внутренним взором; однако, они не вполне мне подчинялись, так как моя воля, как я вам говорил, далеко еще не овладела той силой, которая стала во мне сосредоточиваться...

— Какое же отношение имеет все то, что вы сказали, к предсказанию, что вы полюбите трех женщин? Где же третья?..

— А вот послушайте, что со мной произошло, и решите — кто «она», — третья ли женщина, или что-нибудь другое...

II

На днях, вечером, покончив с делами, я отправился к себе спать. Надо вам заметить, что вследствие большого напряжения нервов в течение дня, прежде, чем ложиться, я сижу и что-нибудь читаю. Как раз в это время князь дал мне просмотреть очень редкую книгу из своей библиотеки, которую теперь ни у одного букиниста не достанешь ни за какие деньги... Это было сочинение некоего аббата Ланглэ Дюфренуа, заключающее в себе интересный трактат о явлениях и видениях под названием — «*Sur les apparitions et les visions*»; книга была издана в Авиньоне в 1661 г.

В конце этой книги, написанной устарелым языком и как будто бы наивно по нынешним понятиям, я нашел подтверждение некоторых своих мыслей насчет демонов в женском образе, которых мы зовем ведьмами, а также о значении кошмаров, как ужасных, так и болезненно сладостных. Почтенный аббат приписывал последние не неправильно-му обращению крови, а именно посещающим человека во

сне злостным суккубам, старающимся уничтожить тело, чтобы овладеть потом нашим духом.

Дочитав интересную главу, я долго не мог заснуть... Нстойчивые, хотя бессвязные мысли не давали мне забыть-ся. Затем мои мысли слились в нечто определенное и наконец я против воли вообразил, иначе не могу определить, что я иду ночью по набережной, сначала почему-то около Морского корпуса, потом заворачиваю куда-то и попадаю в какую-то слабо освещенную квартиру; запоминаю расположение комнат, мебель, убранство. В квартире не встречаю ни одного живого существа. Затем я опять оказываюсь на набережной, около какого-то моста. Навстречу мне идет дама под синей вуалью и, не дойдя до меня несколько шагов, хочет что-то сказать, поскользывается и падает... Я ее подхватываю, подымаю и... все исчезает... Не помню, как я наконец заснул... Я забыл вам сказать, что последнее время я получаю много анонимных писем. Я их проглядываю и бросаю в корзину...

— Какие же это письма?

— Всякие... попадаютс я романтического характера с приглашением прийти в определенное место... Но я, конечно, не иду, вы понимаете, почему?.. Утром я вспомнил об этих письмах, так как два из них были написаны одним и тем же почерком и приглашали меня прийти к какому-то мосту... Утром я заглянул в корзину с рванными бумагами, но, не найдя там этих писем, машинально стал просматривать газету и вдруг заметил объявление, в котором говорилось, что на Васильевском острове давно уже думают о господине, которому дважды писали, знают, что и он о «ней» думает, а потому просят его прийти сегодня в четыре часа к Биржевому мосту; подписано — «Она»... Все это вместе меня настолько заинтересовало, что я послал в четвертом часу за каретой и отправился на Васильевский остров. На Биржевом мосту я приказал ехать тише, и вообразите, выглянув в окно, как будто нарочно, увидел высокую, стройную даму под синей вуалью, стоявшую в нерешительности на тротуаре и смотревшую в мою сторону...

Заметив меня, она без колебаний пошла вперед... Я вылез из кареты и пошел ей навстречу... Она, с своей стороны, ускорила шаг, но, подойдя близко ко мне, вдруг скользнула и наверно упала бы, если бы я не подхватил ее вовремя под локоть...

— Благодарю, — сказала она, — это — я... Я боялась, что вы не приедете...

— Разве вы мне писали?

— Да... Будто вы не знаете?

— Сударыня, мало ли я получаю всяких писем; не могу же я на все отзываться! Я страшно занят... Встреча наша совершенно случайна...

Она на меня посмотрела странным взглядом и сказала:

— Если вы чего-нибудь боитесь, то прикажите вашей карете ехать сзади нас...

Я пожал плечами и громко приказал кучеру не ждать меня и ехать домой, а сам пошел с ней рядом по направлению к Дворцовому мосту...

Она откинула вуаль и первое, что меня поразило, это глубокие синие глаза; лицо ее было выразительно, но очень бледно. Говорила она нежным, проникающим в душу голосом. По всем признакам это была женщина, принадлежавшая к хорошему обществу; но когда мы шли рядом, она старалась идти как можно ближе ко мне, и я несколько раз чувствовал ее прикосновение...

— Зачем вы огорчаете меня? Первые же ваши слова, которых я так страстно ждала от вас, была — неправда... Хорошо ли это?

Но я решил не сдаваться и развязным тоном старался ее уверить, что наша встреча не более, как забавное недоразумение, что я от нее никаких писем не получал и что она, вероятно, меня принимают за другого, и что если я вышел из кареты, то вовсе не потому, что ожидал свидания с ней... Затем, так как мы не замаскированы и нам нет нужды обманывать друг друга, поэтому, если она желает, мы можем сейчас же вернуться к Биржевому мосту, где, может быть, ее ожидает с нетерпением ее настоящий избранник. При этом я предложил ей идти под руку. Это была с моей сторо-

ны неосторожность; она прижалась ко мне, и от прикосновения ее тела что-то жгучее разлилось по моим жилам, и я почувствовал неудержимое влечение к этой странной незнакомке, которую даже не разглядел как следует.

— Все это неправда, — говорила она, — вы именно тот, кого я звала... Но вы должны были знать это еще ранее... Не вы ли сами какой-то странной силой вызвали мой дух к себе?.. Вы же знаете, что вы были у меня, и я была у вас.

— Что такое? Я не понимаю вас... Как это я мог быть у вас и вы у меня? — продолжал я слабо отнекиваться и чувствовал, что мой голос дрожит.

Она взглянула мне в лицо своими лучистыми глазами...

— Я даже могу описать вам ваш дом и вашу комнату, — сказала она, — и если и этого вам мало, то напомним вам о двух женщинах, которых вы любили...

— Но кто же вы, если вы это знаете?

— А кто вы? — сказала она, не отвечая на мой вопрос, — это надо кончать... Более нельзя... Вы придете ко мне, потому что я ваша... Так суждено... Но прежде вы должны съездить, я вас умоляю, в Лесной; там в четвертой просеке, направо за деревьями, вы подойдете к маленькому памятнику и увидите, что надо...

— Извольте; если хотите, поедemте хоть завтра?..

— Нет, вы поедете один...

Я обещал, хотя решительно не понимал, зачем это надо... Незаметно мы дошли до ее дома; было уже темно. У подъезда, когда я стал прощаться, она порывисто и крепко схватила меня за руки и страстным и молящим голосом еще раз просила меня съездить туда и требовала, чтобы я перестал наконец ее мучить и освободил от странного состояния, в котором она уже давно находится... Я старался ее успокоить, как мог, и когда к подъезду кто-то неожиданно подъехал, я, ничего более не говоря, поспешно ушел от нее, взволнованный до глубины души...

Вечером мне надо было быть у князя. Должно быть, я не сумел скрыть своего настроения, потому что, взглянув мне в лицо, он спросил:

- Что случилось?
- Ничего, — отвечал я...
- Верно, больны?
- Нет, я здоров.
- А...

И он со свойственной ему деликатностью перестал спрашивать, но сократил доклад и отпустил меня ранее обыкновенного...

III

Я решил не исполнять странную прихоть незнакомки, но не выдержал и на следующий день поехал утром кататься на автомобиле, а потом, сам не помню каким образом, очутился в Лесном. Я сидел рядом с шофером, во всю дорогу не проронил ни слова... Очевидно, мое молчание не понравилось шоферу, и он меня спросил: «не хотите ли повернуть домой?»

Но мы находились как раз против четвертой просеки. Тогда я встрепенулся, остановил автомобиль и, сказав, чтобы меня ждали на этом месте, пошел вперед. Мой спутник тоже слез с автомобиля и внимательно огляделся кругом... Я забыл прибавить, что это не был «обыкновенный» шофер, а специально приставленный ко мне человек. Пройдя несколько шагов, я инстинктивно повернул в сторону и здесь, за вторым рядом деревьев, увидел небольшой холмик, с уложенной на нем каменной плитой. Эта плита, видимо, была очень старая... Сметя снег, я увидел высеченный на камне пятиугольник, а внутри его крест с четырьмя розами вокруг — знаки розенкрейцеров, а ниже полустертую временем надпись, первые слова которой меня несказанно удивили... Я не имею права повторять вам этих слов, да кроме того, чтобы вы поняли их значение, я должен был бы вам рассказать другую необычайную историю, которая со мной случилась года два назад... Теперь же поверьте только тому, что, прочитав эти слова, я решил уходить отсюда

поскорее, тем более, что вследствие оттепели из чащи деревьев тянулся какой-то туман и запах полусгнившей травы дурманил мне голову... Да и солнце стояло уже низко... Между тем, из тумана вдруг показалась женщина в сером костюме; она, точно загипнотизированная, направлялась к тому месту, где я находился, и остановилась напротив меня между ближайшими деревьями; нас разделяла только небольшая насыпь...

— Это была ваша незнакомка?

— Не... не знаю... У меня затуманило глаза... Она сделала шаг вперед и наклонилась, как будто тоже хотела взглянуть на плиту, и при этом у меня вдруг промелькнуло в голове знакомое движение и я вспомнил почему-то о сером призраке, который мне тогда почудился за спиной генерала К*... Я хотел ей что-то сказать, но она сделала движение рукой, как бы удерживая меня на месте, и скрылась между деревьями... Мне больше ничего не оставалось делать в просеке, и я вернулся к автомобилю... Мы немедленно тронулись и с большой скоростью направились домой...

Тем не менее, до Петербурга мы добрались довольно поздно, и я решительно не понимаю, как с нами на дороге ничего не случилось...

Приказав затопить камин в кабинете и усевшись в большое кожаное кресло, я стал перебирать в своей памяти события последних двух дней... Мое глубокое раздумье нарушалось только треском горящих дров. Несмотря на то, что последнее время я привык ничему не удивляться, то, что случилось, выходило из области моих наблюдений и потому пугало меня... Прежде всего мне казалось странным, что неизвестная мне женщина воображала, что это я ее загипнотизировал и вызвал ее дух... Между тем, уверяю вас, воля моя здесь совершенно не участвовала. Значит, действовало какое-то «третье» лицо, неизвестное ни мне, ни ей, таинственный режиссер этого волшебного театра, в котором мы играли роль покорных ему марионеток.

— Не говорили ли вы кому-нибудь о вашем странном настроении?

— Никому... Один только князь мог догадываться кое о чем по некоторым отдельным фразам и еще кое по каким признакам... Но князю было не до того, чтобы заниматься мистификациями... Так или иначе, я решил вступить в борьбу с неизвестным мне врагом и противопоставить силу силе. На этот раз я решился предупредить его и стал вызывать мою незнакомку по тем данным, которые я уже имел в своем распоряжении.

...Положив перед собой круглое зеркало с золотым ободом и потушив в кабинете все лампы, кроме одной под темным абажуром (огонь в камине в это время уже догорел), я устремил свою мысль в «ее» направлении, стараясь в то же время забыть все остальное, отрешиться сначала от всего «ближайшего окружающего», а затем и от своего материального тела... Полностью этого достигнуть нельзя, да и опасно; можно разорвать связь духа с телом и даже умереть... Первым признаком близости к такому состоянию является едва слышный, но настойчивый шум, и такая же еле заметная вибрация всех предметов в комнате... Дальнейшее напряжение воли — и наступила полнейшая тишина и полнейшая неподвижность... Надо вам сказать, что в данном случае я подражал отчасти приемам индусских факиров... Я перестал чувствовать свое тело, и все кругом наполнилось нежной синеватой мглой... Я увидел серые очертания уже известной мне комнаты, предметы, находившиеся в ней, затем... с дивана, как будто нехотя, поднялись очертания стройной женщины и, как-то колыхаясь, приблизились ко мне; она упала передо мною на колени, через зеркало протянула мне руки и стала смотреть на меня молящим и в то же время полным страдания взглядом.

Это была «она»... Но как я ни напрягал силу воли, мне не удалось достигнуть большего и прочесть ее мысли. Тогда с досады я решил прогнать от себя призрак, но и это мне удалось не вполне: сначала она исчезла сразу по моему требованию, но я сам почувствовал себя точно скованным и не мог пошевелиться; между тем призрак явился снова, причем голова смотрела откуда-то уже с высоты, и вся ее фигура вытянулась в длину, постепенно теряя человеческие

формы... В темном углу кто-то смеялся, а может быть, этот смех доносился с улицы. Затем я как-то забылся и проснулся утром уже на диване... Я твердо решил избегать встречи с этой странной женщиной и не отзывать на ее письма, но в тот же день, вечером, неожиданно встретился с ней на Конногвардейском бульваре... Она как бы выросла передо мной, точно это было между нами условлено. На этот раз я не расположен был шутить и сам стал требовать у нее объяснений. «Чего вы от меня хотите? — говорил я, — зачем вам надо было, чтобы я ездил туда? Ну вот, я съездил... Что же дальше?» Затем я намекнул ей, что подозреваю какого-то другого, мне неизвестного, который толкнул ее на мою дорогу...

В ответ на это она засмеялась радостным смехом, глаза ее засветились знакомым огнем и, подхватив меня под руку, она быстро пошла со мною вперед...

— Этот «другой» — ты сам, — говорила она. — Ты видел и слышал меня во сне, как я видела и слышала тебя... Ты каждую ночь вызывал меня, но я не сразу угадала, откуда зовет меня этот голос, не знала, где ты, существуешь ли ты; но чувствовала, что уже принадлежу тебе... Я страшно страдала, стараясь найти тебя... Ведь ты подумай... Чудные видения блуждали в этом мире, блуждали — и вдруг нашли друг друга в каком-то мраке, нашли так же случайно, как лунный луч в густом лесу вдруг находит распутившийся цветок... Теперь, как суждено, так и будет... Я должна быть твоей, потому что ты создал меня!..

Она говорила еще много таких же непонятных и страстных слов, как будто колдовала, и я скоро поддался ее власти и шел за нею, точно увлекаемый непреодолимой силой; я ни о чем не думал в эти минуты и чувствовал только, что страстная любовь овладела всем моим существом... Не помню, как мы очутились в той самой комнате, в которой я уже видел ее в магическом сне, но на этот раз комната была не пуста; со мной была «она», и ее объятия и поцелуи жгли и опьяняли...

— Теперь уходи, — сказала она, когда в соседней комнате стенные часы стали бить полночь, — помни мои ласки,

они первые и последние... Больше ты меня не увидишь...

На это я ответил, что, наоборот, уверен, что мы очень скоро, может быть завтра же, опять с ней увидимся, вообще тогда, когда я этого пожелаю; но она загадочно покачала головой и сказала, что только редкий случай мог свести нас однажды, но второй раз это уже не повторится...

На следующий день я был очень занят делами, но в моей душе стало зарождаться смутное беспокойство... Я невольно вспомнил ее последние слова, звучавшие вечной разлукой, которым я не придавал тогда особенного значения... Меня томила какая-то тоска... Вечером я старался сосредоточить на ней свою мысль и безмолвно всеми силами души звал ее к себе, но никто не отвечал на мой зов. Но, что еще печальнее, ее образ, помимо воли, стал быстро изглаживаться из моей памяти. Я никак не мог более воссоздать в моем воображении ни выражение ее лица, ни ее голос, одним словом — ничего. У меня оставалось только впечатление удивительных синих глаз. Чтобы напомнить их себе еще более, я зажег лампу у портрета Зинаиды, но, представьте, глаза последней уже не производили прежнего эффекта; взор их как будто утратил глубину и жизненность, — он не светился более, а неподражаемый цвет, чудно подобранный художником, как-то поблек; это были обыкновенные глаза, хорошо написанные на полотне...

Наконец, утомленный, с разбитыми нервами, я лег и заснул. Во сне я почувствовал, что дух мой отделяется и несется куда-то... И затем я очутился не в той комнате, а у таинственного холмика в Лесном. Против своей воли я стал смотреть надпись на плите и вместо уничтоженных тогда временем слов прочел два дорогих мне имени. Затем я не помню, что было...

Утром я пошел к князю и в ожидании его выхода стал просматривать газету... И вдруг, представьте, в дневнике происшествий прочел поразительное для меня известие, что на Васильевском острове, в той самой квартире, в которой я был, нашли вчера труп красивой молодой женщины... По объяснению газеты, эта квартира принадлежала одной даме, уехавшей за границу и отдавшей ее на время

отсутствия внаем. Убитая женщина приходила за несколькими днями ее осматривать и затем не возвращалась более... Каким образом она все-таки очутилась в этой квартире и в ней меня принимала, не могу себе объяснить...

— Вы, конечно, ходили туда проверить, та ли это женщина или другая?

— Я не ходил, но знаю, что это была она...

— Кто же ее убил?

Но С-ов, вместо ответа, вдруг вскочил и, воскликнув: «до свидания, я очень спешу», — ушел, оставив меня самого разбираться в этой истории... Поэтому, если вам этот рассказ покажется непонятным или болезненным, то в этом виноват С-ов, так как автор рассказа он, а не я...

ЧАСОВОЙ И ЧЕРТ

I

Рядовой 15*-го пехотного полка Андрей Адрианов стоял на часах у интендантского склада. Первую смену он отстоял еще днем. После этого он обедал в караульной комнате, потом послушал удивительную историю про рыцарей Фортинбраса и Сефемора и про колдуна Мерлина, которую читал вслух унтер-офицер и, наконец, крепко заснул и спал до тех пор, пока опять не пришлось идти на часы. На этот раз пришлось стоять глубокой ночью...

Дело происходило в Закавказье. Южная темная ночь прикрыла все окрестности. Черные тучи тянулись со стороны гор. Луну по временам заволакивало и по местности скользили странные, причудливые тени. Постояв несколько времени на месте, Андрей Адрианов почувствовал, что глаза смыкает дремота, а по спине пробегает дрожь от ночного холода. Тогда он стал ходить взад и вперед мерным шагом, рассеянно поглядывая то на черные, поросшие кустарником, края обрыва, то на осыпавшуюся стену неуклюжего каменного ящика, изображавшего интендантский склад. Чем более он ходил, тем более его утомляло его ружье. Сначала он держал его на левом плече, потом на правом, и чем дольше ходил, тем чаще делал эту перекладку, и с каждым разом ему казалось, что к весу ружья прибавлялось по фунту. Таким образом, через полчаса ружье весило уже около пуда. Затем он стал носить его уже под курок, заложив руки в рукава. Облака все более надвигались и в горах по временам вспыхивала молния, ничего не освещая. Адрианов вспомнил чтение про колдуна и ему стало немножко жутко... В это время вдаль показался обход. Адрианов ожилился, и ружье сразу стало весить пять фунтов.

— Кто идет? — крикнул он.

Вдали показалась странная фигура в огромнейшей папаше.

— Кто идет? — повторил Адрианов.

— Это я, кавалер, — черт...

— Черт, стой! что пропуск?

При этом часовой хотел приложиться, но приклад точно прирос к земле. Ружье сразу потяжелело, точно в нем было пудов десять. Глаза у неизвестного светились, как у волка, а из носу шел дым. Сзади извивался длинный хвост. Дело выходило плохо...

«Должно быть, и взаправду черт!» — подумал Андрей.

У черта была странная голова: не то песья, не то ослиная, с огромным кривым носом.

— Ты меня, кавалер, не бойся, я тебе зла не сделаю и в покое тебя оставлю, только с одним условием...

— Никаких я твоих условий не желаю. Разве не знаешь, дьявольское отродье, что на часах разговаривать солдату нельзя?

— А я вашего устава знать не хочу! Ежели ты со мной не поладишь, так я тебе всякую пакость причиню...

Захотелось Андрею Адрианову перекреститься, но рука прилипла к погонному ремню, а в голове начало мутиться...

— Что же тебе от меня надо?

— А хочу я таким же кавалером быть, как и ты... Поэтому мне надо вашу солдатскую науку произойти и военное звание заслужить...

Адрианов приободрился.

— Дурак, ты, как я погляжу, хоть и черт, — сказал он. — Ты думаешь, что дело такое, что тят-ляп и готов корап. Я, брат, шесть месяцев эту науку происходил, и сколько мне всякого гостинцу влетело, пока я научился, а ты эдакое мудрое дело, нечистое рыло, хочешь в один час произойти!

— Уж ты только меня научи, а в остальном не сомневайся. А я тебе за это всякое уважение окажу.

— Ну, ладно, что с тобой поделаешь; становись; только доставай ружье, а своего я дать тебе не смею.

Черт моментально откуда-то достал ружье. На свое мохнатое тело он напялил солдатскую шинель, которую стянул

тут же, в интендантском складе.

— Эко рыло! — сказал Андрей Адрианов и сплюнул.

— Да ты, кавалер, не смейся надо мной; кажется, я по форме.

— Ну, нечего делать, — сказал Адрианов, — сделаю тебе учение... Смотри не обижайся, если я тебя сгоряча поправлять начну; только ты сначала мои руки от своего дьявольского наваждения освободи.

— Ты уж только меня выучи, а уж я все от тебя стерплю.

— Ну, бери свое ружье; становись в будку!

— Зачем же в будку? — спросил удивленный черт.

— А затем, чтобы тебя никто не видел со стороны, да и обычай у нас таков, чтобы рекрутов в будке учить.

Нечего делать, стал черт в будку и по команде «смирно!» изобразил на своей морде необыкновенно серьезное выражение.

За каждый неловкий прием Адрианов поправлял черта кулаком под подбородок; бедному черту в будке было очень тесно, и наука ему доставалась не легко. Сначала Адрианов учил его стойке и поворотам; но когда дело дошло до ружейных приемов, то некоторых из них он никак не мог выполнить, ибо ружье упиралось в крышу будки; черт положительно выбился из сил.

— Ну, служивый, спасибо за науку, — сказал он, — на первый раз достаточно...

— Ну, нет, брат: учиться так учиться; еще с полчаса я тебя поманежу!

Черт не соглашался и хотел уже выскочить из будки и удрать, но Адрианов взял и перекрестил будку. Черт завизжал благим матом.

— Что ты визжишь? Ты эдак всех часовых переполошишь. Сиди смирно; вот, когда смена придет, я тебя сдам по принадлежности. Ах, ты, анафема! Вот, не будешь смущать более нашего брата.

Черт присмирел, но через несколько времени стал вкрадчивым голосом и на разные лады умолять солдата, чтобы он отпустил его на волю.

— Ну, что тебе за сласть, служивый, если я свободы лишусь? Ведь таких чертей, как я, на земле гуляет видимо-невидимо... Да еще в аду их целая тьма наготове сидит... Ведь на каждого солдата нас существует по несколько штук, а на баб и на генералов и еще того более... Положишь ты на меня запрет или нет — все равно — лучше не станет... Отпусти ты меня лучше на волю, и за это все, что хочешь, все я для тебя сделаю, только отпусти меня, служивый; отпусти ты меня, ваше высокоблагородие!

В воображении Адрианова мелькнуло свежее лицо белокурой девушки; блестящие серые глаза ласково взглянули ему в сердце, и звонкий смех задрожал в его ушах. Родные избы в тени берез и лип, черный бор, золотой верх сельской церкви и даже родимая река, как огнем, блеснули под лучами полуденного солнца...

— Ну, ладно, — сказал Адрианов, — отпущу я тебя, но только с уговором. Сейчас же свези меня в наше село; хочу я посмотреть, что моя невеста делает; но чтобы к смене быть назад и сделай так, чтобы никто не заметил, что я с поста отлучился...

Нечего делать: черт согласился.

Намалевав своим дьявольским пальцем на интендантской стене часового, он согнул спину и сказал:

— Ну, полезай мне на плечи, служивый, только смотри, не обмани, отпусти в срок...

Адрианов распустил погонный ремень у ружья, забросил себе ружье за плечи и вскочил верхом на черта.

— Ну, трогай, что ли!

Черт взвился над складом, как ястреб, так что Адрианов успел только схватиться за рога и вскрикнуть: «ух!» Но так как солдат ничему не удивляется, то и он немедленно привык к новому положению и, устроившись поудобнее, вынул из кармана трубку, зажег и так затянулся, что даже искры посыпались во все стороны, а табак был такой крепкий, что черту показалось, что ему засунули в глотку огромный булыжник.

II

Черт летел с быстротою молнии; но вследствие своего лукавства он летел не прямо, а то вздымался вверх, прорываясь сквозь облака, то спускался вниз и извивался между деревьями и строениями. Делал он это из присущего соблазнителью рода человеческого обыкновения совать свой нос повсюду, а отчасти и потому, что черта поминают во многих местах и во всякое время, и он из вежливости хочет показаться там, где его звали; и те места, куда обращался любопытный взор дьявола, немедленно освещались: это искры, летевшие из трубки Адрианова, разгорались, точно звезды...

— А вот и наши казармы, вот это наш часовой стоит у денежного ящика, — говорил Адрианов. — А здесь наш ротный командир живет.

Затем черт промелькнул над какой-то саклей, около которой стояла арба с огромными винными бурдюками и дремали буйволы. Рядом, под освещенным навесом, несмотря на позднее время, что-то визжало и топотало; это играли зурначи, и совершенно пьяные люди в огромных папах и с огромнейшими сизыми носами, съедая друг друга глазами, отхватывали лезгинку, припевая: «Лу-бо-о-в, что тако-ие, луб-о-о-в!»

— Да, любовь это, друзья любезные, — проговорил Адрианов, пуская огромный клуб махорки, — это тово...

Но они уже промелькнули дальше. Вдоль по кособокому проносу запоздалый джигит на маленькой, горячей лошади, похожий под своей растопыренной буркой на конус, под которым брэнчало ружье, три пистолета, шашка и кинжал. Джигит был, видимо, выпивши и, почувствовав приволье, скакал очертя голову, сам не зная куда, колотя нагайкой одновременно лошадь и себя.

— Ишь жарит-то, — сказал Адрианов, — пожалуй, черта обгонит...

Черт усмехнулся, и всадник вместе с лошастью полетел в кручу, пустив в воздух самое отборное азиатское проклятие...

— Да, — сказал солдат, — ежели в темную ночь да так зря скакать, так оно тово...

Но они уже летели далее...

Повеяло холодом, и путешественники понеслись над ущельем. Густые облака, теснившиеся в нем, имели сверху вид реки с высоко вздутыми серыми волнами. Адрианова пробрал холод и захотелось есть.

— Мы теперь почтовым трактом летим, кавалер, — сказал черт. — Не хочешь ли передохнуть на станции, подзакусить на скорую руку, а я тем временем поправлюсь?

— Ну, коли расковался, так спускайся, — сказал Адрианов, — закусить я не прочь. Только смотри, чтобы все к сроку было. Да еще вот что: нашего брата в господский буфет не допускают, так ты меня на это время в барина обрати, да и сам как бы вроде моего собственного слуги явись, да и обделывай это в один момент; так что если я тебе скажу: «эй, ты, заплати», — так ты свое дело знай!

Черт сказал: «слушаюсь», и Адрианов неожиданно очутился перед большим станционным домом на Военно-Грузинской дороге.

Как раз за несколько минут до его прибытия, к станции подъехала большая дорожная коляска и из нее вылез важный генерал, в теплой шинели, надетой в рукава, затем толстая, важная барыня, в теплой бархатной кофте, а за нею выпорхнула легонькая, как коза, барышня, закутанная в белую бурку. Наконец с козел с трудом слез заспанный лакей, у которого ноги отказывались действовать от трех причин: от холода, от неудобного сиденья и большого количества вина, выпитого на всех станциях. Из подъехавшего сзади тарантаса с вещами вылезла красивая белокурая горничная.

— Брр... как пробирает! — сказал генерал. — Это большое неудобство в дороге. А какая бы это была прекрасная страна — Кавказ, если бы в ней не было этих гор!

— Ах, папа, что вы? В горах-то вся и прелесть! А нет ли тут разбойников?

— Какие тут разбойники! — возразил генерал. — Никаких тут разбойников нет и не может быть.

Затем вся компания вошла в общую комнату, в углу которой дремал бледный и худой армянин.

Только что генеральская семья уселась за столом в ожидании ужина, как вошел Андрей Адрианов, переодетый купцом, а вслед за ним и черт в кавказском бешмете, превратившийся в слугу. В этом виде лицо у него было такое худое, как будто его несколько дней не кормили, а глаза косили во все стороны.

Поклонившись всей компании и сказавши: «хлеб да соль!», Андрей Адрианов уселся на другом конце стола и стал уписывать за обе щеки все, что ему ни подавали.

Генерал, решив, что очень приятно встретить русского купца на Кавказе, завел с ним разговор.

— Вы, конечно, не здешний? — сказал он.

— Никак нет, ваше превосходительство! — гаркнул Адрианов, вскочив и вытянув руки по швам.

«Какой, однако, почтительный купец», — подумал генерал.

— А я еду принимать N-скую дивизию, — продолжал он. — Гм... А вы чем торгуете на Кавказе?

Адрианов выпил водки и стал объяснять генералу, что он занимается казенными подрядами и поставяет в войска всякую всячину: солдатское сукно, нефть, сапожный товар, поднаряд, караульные будки, нагайки, вино, махорку, кишмиш, ключи для каптенармусов, эполеты, бубенный инструмент... Адрианов стал бы врать еще более, если бы черт не положил конец этой беседе.

Полная генеральша загляделась на черта и почувствовала к нему необыкновенное влечение. За тем, неизвестно по какой причине, стул под нею подломился, и она с криком: «проклятый Кавказ!» полетела вверх ногами. Бледный армянин бросился ее поднимать, все засуетились кругом, а тем временем Адрианов вышел в коридор. Мимо его

промелькнула, стрельнув в него глазами, генеральская горничная.

— Как вас зовут? — спросил Адрианов, ткнув ее слегка пальцем в бок, что изображало комплимент.

— Дашей. А вам на что?

— Когда буду в ваших местах, уж позвольте вас навесить. Я к вам с гостинцем приду.

— Милости просим: да вы обманете?

— Зачем обманывать?

— А вас как звать?

— Андрей Адрианов.

— Ну, хорошо; так до свиданья. Смотрите же, торопитесь приходить, а то за чумазого замуж пойду. Счастливый вам путь, кривая дорога... Хи, хи, хи!

И она прошмыгнула в комнату, отведенную для генеральши, а Адрианов посмотрел ей вслед, почесал затылок и пробормотал:

— Ведь какая девка-то: сладкая! Ведь, ежели сравнить с той, так оно тово...

Но в это время черт его подхватил, и оба помчались далее на север.

III

Стрелою неслись они чрез закутанный в тумане ночи северный Кавказ, холмистые долины Малороссии, а черт летел все далее и далее.

— Эка страна-то, Россия! Сколько это нужно сапогов переменить, ежели примерно от Капказа и до Белого моря...

А черт летел все далее. Удивленно смотрели звезды и месяц, как рядовой 15*-го полка без всякого зазрения совести несется выше облаков. Наконец полет замедлился. Раздались ночные колотушки, запахло водкой, и Адрианов очутился у дверей родного кабака. Во всех избах было темно, и лишь собаки выли, почуяв нечистого. Только из окон ка-

бака и щелей плохо припертой двери светился огонь.

— Ну, служивый! — сказал черт, — ступай в кабак; может быть, что-нибудь там и узнаешь, а я тебя здесь обожду. Да смотри, торопись: первые петухи уже пропели...

Адрианов вошел, поклонился присутствующим, спросил полухтоф и сел в угол. За одним из столов он увидел двух знакомых богатых мужиков. Один из них, староста, был отец той самой Марьи, которая все обещала его дожидаться и не выходить ни за кого другого замуж. Другой же, из соседнего села, Иван Акимов, держал постоялый двор на прогонной дороге и занимался кулачеством. Ни тот, ни другой не узнали Адрианова благодаря стараниям черта. Оба были подвыпивши и похвалялись друг перед другом — староста — своими должностями и обязанностями, а хозяин постоялого двора своими разнообразными хлопотами по хозяйству; оба умалчивали, конечно, о своих плутнях. Неизвестно все то, о чем они говорили, но из их разговора Адрианов, сначала не понимавший, зачем черт его завел в кабак, теперь понял, что Марья его обманула и благополучно вышла замуж за сына Ивана Акимова.

«Вот тебе и крышка, — подумал Адрианов, — стоило тоже ехать! Хорошо еще, что прогонов платить не придется...» С досады он плюнул и одним махом выпил весь полухтоф.

За другим столом сидело трое рваных мужиков. Сначала они жаловались на неурожай, на станового, взыскивавшего недоимки, на управу, на болото, которое неизвестно отчего образовалось около деревни, и на соседнего помещика, который через свой лес не позволяет прогонять скотину... Потом, когда выпили еще, то разговор круто переменялся. Один сказал, что на днях должна появиться звезда с хвостом, в виде грабли, и что это предвещает скорую войну. Другой заметил, что война уже есть; позавчера он встретил на почтовом тракте барышника и тот на вопрос, куда он гонит лошадей, отвечал: «На Капказ, ибо там война и англичанин с туркой половину Капказа уже забрали, и что с будущей осени все повинности будут брать сеном и овсом».

Адрианов не утерпел и спросил:

— Это которую же половину, православные, — правую или левую?

— Это уж там начальство знает, а сказывают, что забрал.

— А я тебе говорю, дурацкая твоя голова, что ты вздор мелешь и никакого там ни турки, ни англичанина, ни черта лысого нет, а есть там русская сила непреборимая!

— А ты почему знаешь?

— Да я сейчас откуда; я Капказ знаю во как!

Мужики переглянулись, а один из них сказал:

— Не путевой ты парень, как я вижу; сдается мне, братцы, что не он ли прошлую весной у меня сарай спалил?

— А я так думаю, — заметил другой, — что это конокрад?

Третий сделал предположение, что это во всяком случае душегуб.

— Чтобы черт вас подрал, пьяное дурачье! — воскликнул Андрей Адрианов.

Нечистая сила мгновенно перенесла его на улицу, а мужики с пьяных глаз стали тузить старосту и Ивана Акимова.

— Ну, служивый, — сказал черт, — ты узнал, что тебе нужно. До утра уж недалеко; пора и назад: тебе — на часы, а мне — в ад.

На востоке уже стало белеть; утренняя звезда высоко поднялась над горизонтом. Андрей скомандовал черту: «Пошел на постоянный двор!»

Здесь, несмотря на ночное время, по случаю проезда губернатора, все уже было на ногах, кроме сына хозяина, счастливого мужа Марьи, который был погружен в сладкий сон и все еще нежил на пуховиках.

Андрей Адрианов влез к нему в спальню и, сказав; «Ишь ты, жирная морда! чтобы тебя разорвало», взял дегтярную кисть и вымазал ему все лицо. Затем приказал черту пугнуть Марью. Черт побежал в темную кладовую, где она что-то искала по хозяйству, и сделал ей такую необыкновенную рожу, что она взвыла благим матом и бросилась опрометью к мужу. Но тут, взглянув на мужа, она еще громче

закричала: «Ай, арап, арап!» На это сбежались все остальные домашние и от страха пустились вприсядку.

Довольный своей выходкой, Адрианов сказал черту: «Ну, а теперь обращай меня в важного генерала».

Желание его тотчас же исполнилось: не успел он, что называется, оглянуться, как сразу сделался генералом от инфантерии, кавалерии и от артиллерии. Появление генерала произвело переполох необыкновенный. Сейчас же он собрал все местное начальство и, велев привести из кабака старосту и Ивана Акимова, сказал строгим голосом:

— Я, Иван Акимов, тебя знаю. Ты тайной продажей вина занимаешься, проезжих мужиков грабишь, своих по миру пустил! Лошадям гнилое сено отпускаешь!.. Молчишь? Совесть мутит? Сейчас же ему сто розог всыпать, заведение на год закрыть и поставить сюда дивизию на постой. Дорогу починить на старостин счет; недоимки которые, всем простить, а Андрею Адрианову выслать в 15*-ый полк сто рублей серебром... Вот вам и расправа, и если вы еще за старое приметесь, то...

...Но здесь его речь была прервана и при пении вторых петухов Адрианов взлетел на воздух.

— Замешкался ты, служивый, — говорил черт, — только-только бы поспеть в самый раз к смене...

Смена действительно была уже за углом, когда бедный, упарившийся черт с быстротою падающего камня опустился около будки. Золотилась заря... Черт скрючился от страху и сказал:

— Пусти меня скорее! А то беда и мне, и тебе...

— Нет, постой! А шинель-то ты думаешь при себе оставить, что ли? Подавай сюда казенное добро!

Не успел Адрианов сорвать с черта шинель, похищенную последним из интендантского склада, как третий раз пропел петух и черт со словами: «Спасибо тебе за учение, а шинель мне ваша не надобна», распался прахом и рассеялся в утреннем тумане... Подошла смена...

Конец этой невероятной истории был еще невероятнее. За спасение казенного добра Андрей Адрианов был сделан ефрейтором. Он пошел в ход. Его стали посылать к начальнику дивизии с пакетами, к тому самому, что он встретил в горах. Там он познакомился с Дашей, которая нашла в нем большое сходство с одним купцом, обещавшим на ней жениться. Адрианов сколько раз хотел сказать на это: «да ведь купец этот самый я и есть...», но почему-то удерживался и ограничился одним хитрым подмигиванием.. Наконец, дело дошло до того, что Адрианову через волостное правление было прислано сто рублей. Что было далее — неизвестно...

1894 г.

МОНТСЕРАТ И ЕГО ЛЕГЕНДЫ

Монтсеррат, что значит — «Зубчатая гора» (Monte aserrado) — находится в углу, образуемом железнодорожными линиями, отходящими от Барселоны на Сарагосу в западном направлении и от Барселоны на юг в Таррагону и Валенсию. Монтсеррат совершенно уединен. Последние контрфорсы — горная цепь, отходящая от Пиренеев, кончается не вдалеке от этой странной горы, представляющей, по мнению геологов, весьма редкое явление. Гора имеет 3.900 футов высоты над уровнем моря. Она треснула на одну треть своей высоты и ее две отдельные вершины разделяются извилистой долиной. Дожди образовали здесь овраг, служащий раздельной линией между епископством Бичским и Барселонским.

Чтобы попасть в Монтсеррат по западной линии, надо ехать до Монистроля — пятой станции от Барселоны (51 кил.); по южной же линии — до Марторелля (33 кил.).

С одной стороны Монтсеррата, на краю упомянутого ущелья, расположен древнейший монастырь св. Девы, а с другой, близ старинного селения Кольбатю, — обширные сталактитовые гроты, спускающееся один за другим на глубину более 50 метров и привлекающие как ученых, так и просто любопытных.

В Монтсерратский монастырь ежегодно приезжает большое число богомольцев; в особенности их много собирается в годовой праздник, 8-го сентября.

Сарагосская линия пролегает сначала по местности очень богатой и живописной; роскошные поля перемежаются с прекрасными фабриками. Железная дорога, выходя из северо-западных пределов города, идет вплоть до Меркады, очень близко от северной дороги на Херону. Пройдя мимо старого форта, она пересекает предместья города, где то и дело попадаются фабрики, заводы и дачи. За станцией С.-Андрес де-Паламор открывается вид на холмистые долины и горные цепи, красиво декорированные сельскими доми-

ками и тенистыми садами. Вид этот делается еще обширнее за Монкадой, местечком, получившим название от развалившегося уже теперь замка, принадлежавшего одной из древнейших фамилий каталонских. Здесь фабричная и сельская культура соперничают между собой. Из пунктов, попадающихся на пути, наиболее замечателен Сабаделль, по справедливости называемый каталонским Манчестером. Сабаделль один из древнейших городов Каталонии, о нем упоминается еще в XI веке и впоследствии имя его попадает в бурной истории этой страны. Затем следует Олеса — последняя станция, не доезжая Монистроля — известная своими минеральными источниками (Banos de la Puda).

Причудливые зубцы Монтсеррата видны еще с полпути; затем они исчезают за складками местности и, наконец, в Монистроле весь Монтсеррат открывается перед взорами путешественника. Отсюда видны и красноватые здания монастыря, расположенный в горной трещине, и белые выступы, висящие тяжелыми карнизами над монастырем.

Монтсерратские горы имеют странный вид наброшенных в беспорядке один на другой каменных конусов, совершенно обнаженных и обрывистых, в середину которых можно проникнуть только по немногим и крутым всходам. Эти пирамиды и конусы образованы из огромных известковых массивов, разных цветов — серого, желтоватого, красного, темно-бурого, склеенных между собою естественным цементом, перемешанным с песком.

Дожди мало-помалу производят свою разрушительную работу, размывают цемент, увлекают песок и землю и бороздят гору морщинами. Они проникают ее насквозь и образуют в глубоких гротах сталактиты. Разрушенные части, увлекаемые водяными потоками, представляют очень плодородную почву. Скаты Монтсеррата славятся своими виноградниками.

Со станции, расположенной довольно высоко, надо спуститься вниз, к шоссе, где обыкновенно к приходу поезда уже готов дилижанс, отвозящий путешественников в монастырь. По прямому направлению гора отстоит от станции в семи верстах, а по дороге надо ехать около девятнадцати. Я

был одним из последних путешественников, которым пришлось ехать на лошадях, так как теперь до самого монастыря проложена зубчатая железная дорога.

По мере приближения к цели путешествия, местность становится все более живописной. Главный недостаток Монтсеррата заключается в том, что пейзажи его не украшаются видом воды. Только кое-где попадаются ключи, обделанные камнем на мусульманский манер. Тонкой струей блесит холодная влага, а сверху, с голубого неба, льется жгучий зной. Каменистые покатости, спускающиеся под разными углами к дороге, все изборозждены частыми морщинами, который, точно острым плугом, проложены мощными струями весенних ливней.

С некоторых подъемов дороги открывается великолепный вид на Пиренеи, с красноватыми тенями в ущельях, и на волнистые поля желто-бурого цвета.

Чем выше, тем суровее и фантастичнее становится местность; дорога проходит иногда над глубокими пропастями, замаскированными по временам густым лесом, то между обрывистыми скалами...

Весь монастырь помещается на сравнительно небольшой площадке, ограниченной с одной стороны длинным обрывом, а с других отвесными утесами гор. В части, ближайшей к въезду, расположены монастырская контора, ресторан и странноприимные дома (*casas de huespedes*), а далее церковь и многоэтажные суровые здания с кельями для монахов.

Старинный монастырь и старинная церковь уже более не существуют. Сохранились только, как воспоминание отдаленной эпохи, византийский портал в две арки и часть готического монастыря XV века. Церковь перестроена из старой и не представляет снаружи ничего особенного. Внутри боковых стен идут в два яруса приделы. Легкий, небольшой купол поддерживается арками, идущими от последних

приделов. Внутреннее убранство не особенно богато. Впрочем, и здесь встречается несколько превосходных произведений духовной живописи, а некоторые приделы обращают на себя внимание своей оригинальной отделкой, как, например, придел, посвященный св. Рамону великомученику, в котором верхняя арка над запрестольным образом украшена виноградными листьями, выточенными из мрамора, а светильники и лампы, самой фантастической формы, сделаны из вороненого и золоченого железа. Описать эту работу на словах очень трудно. Она принадлежит современному архитектору-художнику Гауди. В Барселоне имеется дом его постройки, принадлежащий миллионеру Гуэлю. Его фасад представляет смесь мавританского стиля с фантастическим. Простенки украшены разными железными фигурами. Употребление железа, в виде украшений, его отличительная черта. Придел св. Рамона устроен в память первых графов барселонских из фамилии Беренгеров, у которых часто попадаетеся имя Рамон.

Церковная ризница состоит из четырех комнат и здесь хранятся сокровища монастыря, которые, впрочем, еще незначительны и начали пополняться из dobroхотных приношений только с конца двадцатых годов XIX столетия. Из ризницы по витой лестнице можно подняться в «Камарин» (уборная св. Девы). Это помещение, состоящее из трех комнат, находится над алтарем. Средняя, очень изящная комната, выстроена в фантастическом стиле: кругом идут мавританские колонны из желтого барселонского мрамора; капитель, высеченная из камня Майорки, тоже вроде мрамора, изображает виноградные гроздья и листья. Отсюда через широкую дверь вы проходите на небольшую нависшую над алтарем площадку вроде балкона, где стоит коленопреклоненное изображение св. Девы, украшенное дорогой мантией и короной. По обычаю все становятся перед ней на колени, причем монах подает для поцелуя правую руку Богородицы. Около церкви, в особых монастырских лавках, как и у нас, происходит продажа всяких реликвий, которые теперь, кажется, составляют довольно важную часть монастырских доходов.

В прежние же времена, начиная с XIV века и до начала нынешнего, монастырь был очень богат. Дон-Педро IV, король Арагонский и Каталонский, Фердинанд и Изабелла, Карл V и в особенности Филипп II много пожертвовали на украшение обители. В числе многих приношений находились — перстень Франциска I, присланный им во время нахождения его в плену в Барселоне, и турецкие знамена от Хуана Австрийского после победы при Лепанто.

Как видно из описания монаха Аргаиса, в начале XVIII столетия перед алтарем имелось 110 серебряных лампад. Дарохранительница, пожертвованная Филибертом Савойским, была вся из золота и убрана тысячами драгоценных камней. У Божией Матери было четыре драгоценных венца, а у Христа — три, украшенных бриллиантами, изумрудами и редкими по красоте жемчугами. Теперь от всех этих сокровищ остались одни воспоминания. В начале XIX столетия, во время войны за независимость, большая часть их была захвачена главной хунтой или комитетом народной обороны для покрытия военных издержек. Остальное же было разграблено во время действия здесь корпуса генерала Суше. Однако, несмотря на свою настоящую скромную обстановку, Монтсерратский монастырь, благодаря фантастическому виду гор, в которых он находится, легендам, окутывающим их как туманом, и наконец своей действительной истории, пользуется в католическом мире и в Испании почетом не менее Сант-Яго-Галицийского. Кроме тысяч скромных богомольцев, здесь был и папа Бенедикт XIII, сюда приходили молиться коронованные особы в скромных одеждах кающихся и босиком, оставляя следы своей благородной крови на острых камнях. Поэтому Виктор Балагер, известный каталонский писатель и один из историков Монтсеррата, справедливо называет его испанским Иерусалимом.

Предание относит начало монастыря к 880 году, хотя еще до того здесь скрывались христианские отшельники. Еще ранее Монтсеррат был свидетелем геройской борьбы каталонских баронов в союзе с Карлом Мартеллом против мавров. Тогда же было воздвигнуто пять кастилий или зам-

ков по склонам горы, из коих не осталось ничего, а на месте одного из них, Кольбато, имеется теперь небольшое селение, откуда путешественники отправляются с проводниками в сталактитовые гроты.

В 880 году, по словам легенды*, в один из вечеров пастиухи из сел. Олеса, расположенного на берегу Льобрегата, возвращаясь к себе, увидали в горах необыкновенный пурпурный свет и услышали небесное пение. Так как это явление повторялось каждую субботу, то об этом дали знать Гондемару, епископу Аусонскому. Убедившись в правдивости их рассказов, епископ отправился на Монтсеррат со всем причтом, в облачении, и поднялся на гору, откуда исходил свет и благоухание. Там, в небольшом гроте, вырытом у подошвы одной скалы, они нашли красивое изображение Св. Девы, держащей Предвечного Младенца на руках, изваянное из черного дерева. В этом изображении епископ узнал то самое, которое прежде находилось в церкви св. Хуста, в Барселоне. Эта статуя была изваяна св. Лукой и привезена в Испанию апостолом Петром. Когда граф дон Юлиан, из мести к Родриго, обесчестившему его дочь, призвал в Испанию мавров, то святыня эта была тайно перенесена и скрыта на Монтсеррате. Напрасно епископ Гондемар старался перенести из грота. Св. Деву; невидимая сила удерживала его на месте всякий раз, когда он хотел уходить с горы. Тогда было решено оставить ее здесь, выстроить в честь ее часовню, и наблюдение за ней было поручено монаху-отшельнику Хуану Гарíну.

Про этого отшельника сохранилась легенда, проникнутая религиозной страстностью. Ее рассказывают многие хроникеры, между прочим монах Аргаис**, Постиус и Балагер. Легенда эта послужила темой для поэм, произведений живописи; в последнее время современный испанский композитор Томас Бретон написал на этот сюжет оперу.

* Argaiz, «Perla de Catalana» (Прим. авт.).

** Аргаис называет историю Гарина «Espiritual y corporal tragicomedia», т. е. духовная и телесная трагикомедия (Прим. авт.).

Прилагаемые ниже легенды о «Хуане Гарине» и о «Беремундо Рыжем» представляют частью пересказ, частью перевод из Балагера.

ХУАН ГАРИН

...Луна поднялась над Монтсерратом и облила своим матовым светом его пустынные вершины. Как безмолвные часовые стояли острые обломки скал, бросая неподвижные черные тени. Сердитый ветер завывал в ущельях. В одном из самых возвышенных и диких мест, окруженном огромными камнями, стоял сам властитель ада, окруженный семью демонами.

— Демоны, — сказал он, — видите ли эту пещеру? В ней живет Хуан Гарин. Я всячески старался совратить его, когда он еще был воином. Но соблазны и грехи привели его только к сожалению и к раскаянию. Он отказался от мира и спасается здесь от моих искушений. Я приставил к нему очень хорошего дьявола, который каждую ночь нашептывал Гарину дурные мысли и навевал на него дурные сны. Дерзкий монах вступил с ним в борьбу. Он удвоил молитвы, стал меньше есть, простаивал целые часы на коленях на голом камне. Тогда я стал действовать на него ночью страхом, а днем — тоскою. Я поселил в этих скалах, что все растрескались и поросли мохом, злых духов и они вместе с ветром напевали ему самые печальные, самые унылые песни о том, что все для него кончено и что жить не стоит более. Но он молился, и глаза его загорались небесным мужеством. Я заклял цветы и растения, но он молился, и они изливали благодатный аромат и укрепляли его. Я нагонял сюда бурю и облака, бросал ему камни под ноги, наводил его на край пропасти, чтобы в минуту погибели он ослабел

духом и верой, но противная сила спасала его. Неоднократно по ночам подвластные мне духи являлись к нему в виде невероятных чудовищ и огромных скелетов с огненными глазами; страшные голоса раздавались из-под его жесткого изголовья. Но он молился и все исчезало вокруг него... Я хочу во что бы то ни стало изгнать его отсюда и снова овладеть Монтсерратом... Для этого надо еще раз попытаться совратить его, и я поручаю это двум из вас: ты, Астарот, оставайся здесь и займись Гарином, а ты, Аннабри, ступай в окрестности и приведи сюда самую прекрасную из девиц каталонских!..

Астарот и Аннабри преклонились пред владыкой ада, клянясь своей вечной гибелью исполнить его волю, и затем он, широко расправив свои сумрачные крылья, исчез неизвестно куда...

На следующее утро Хуан Гарин прогуливался недалеко от своей пещеры, держа в руках священную книгу. Вдруг, на повороте узкой и извивающейся тропинки, он встретился с другим отшельником. На неизвестном был такой же бедный монашеский костюм, как и на нем, но он был гораздо старше; длинная седая борода падала до пояса, а рука опиралась на черный посох. Оба пустытника остановились и молча глядели друг на друга. Первым прервал молчание неизвестный.

— Вы живете на этой горе, брат?

— Да, — отвечал Гарин, потупив взор.

— Сколько времени вы здесь находитесь?

— Восьмой год...

— Просто не понимаю, как это случилось, что в течение трех лет, что я здесь поселился, мне ни разу не пришлось с вами встретиться?

— Кто вы?

— Я недостойный грешник, пришедший сюда искупить свои тяжкие грехи уединением, молчанием, умерщвлением плоти и молитвой...

— Да, много грехов у нас на душе, — сказал со вздохом Гарин.

— У меня, наверное, более, чем у вас, брат!.. Еще в ранней юности я заглядывался на женщин и находил в них все те прелести, которые рисовало мне мое необузданное, молодое воображение. Особенно меня поражало в женщинах то, что они ни лицом, ни формами тела не похожи на мужчин, и это вовлекло меня в целую бездну преступлений...

— Бог милосерд, брат, и извлечет вас из этой бездны, если вы искренне покаетесь...

— ...И что всего ужаснее, — продолжал неизвестный старец, увлекаясь воспоминаниями, — мне кажется иногда, что я и теперь еще не окончательно сознал свои грехи. В минуты сомнения я вспоминаю свое первое падение; затем картины последующих падений несутся передо мной, как стая облаков, увлекаемых ветром, и пробуждают во мне очень странные и нехорошие чувства.

— Терпение и молитва изгонят эти чувства из вашего сердца, — прервал Гарин, недоверчиво глядя на старика. — До свидания, брат! Мне пора домой...

— Не хотите ли принять меня в вашу келью?

— Нет... Я обрек себя на одиночество...

— Но раз мы встретились, зачем же отказываться от моего общества?..

— Потому что я хочу, чтобы никто не нарушал общения слабой души моей с Всемогущим Богом. С ним желаю я остаться наедине, — сухо отвечал Гарин.

И Гарин поклонился пустыннику и, перекрестившись, пошел далее. Он не заметил, что знамение креста произвело на неизвестного самое неприятное впечатление.

На следующий день, утром, выйдя из своей пещеры, Гарин увидел в расстоянии двух выстрелов из лука скалу, около которой неподвижно стоял на коленях новый отшельник и молился. Этот отшельник, несмотря на свою старость, молился целые часы, не сходя с места, молился до тех пор, пока солнце не стало спускаться ниже скал и пока длинные тени не начали ложиться повсюду. Неутомимый монах стал сливаться с сумерками, и Гарину казалось, что уж не ошибся ли он и не принял ли камень за человека.

Но на следующие дни повторилось то же самое, и Гарин стал обвинять себя за то, что при первой встрече он обошелся со стариком недостаточно приветливо; между тем, старик может служить примером умерщвления плоти, и поэтому Хуан дал себе обещание, во-первых, усилить свои епитимии и, во-вторых, при следующей встрече быть со стариком более ласковым и даже воспользоваться его наставлениями.

Вифредо, знаменитый граф Каталонский, прозванный «Косматым», давал пир в своем барселонском дворце. В числе гостей находился странствующий бард, прибывший с севера, где он воспитывался в лагере одного из королей готских. По приглашению графа бард осушил трижды кубок гостеприимства. Когда он подносил его третий раз к устам, отворилась дверь и вошла дочь графа — красавица Рикильда. Густые волосы падали черными волнами на ее лебединую шею. Стан ее был гибок, как стройная пальма пустыни. Глаза ее, тоже черные, несмотря на свою доброту, бросали из-под длинных ресниц огненный взгляд, свидетельствующий о южном происхождении. На ней было белое платье — символ невинности и чистоты.

При виде ее бард снял лиру, висевшую у него за плечом, и под аккомпанемент ее спел песню, которая понравилась всем присутствующим. В этой песне он восхвалял красоту девы полудня и призывал благословение неба и привет всей земли на голову храброго вождя, который, взамен золотой и медной монеты, в знак того, что берет прекрасную девушку в супруги, получит от нее в знак согласия и любви яблоко, прикушенное ее жемчужными зубками.

С большим вниманием прослушала Рикильда песню, устремив свой задумчивый взор на барда, и затем, поклонившись ему, ушла к себе.

Была майская ночь, ночь любви, когда, казалось, вся природа была проникнута очарованием, и воздух дышал стра-

стью. Но это была беспокойная ночь... Теплый ветер с моря усилился и по темно-синему небу там и сям клубились облака, направляясь в горы. Рикильде не спалось, и, открыв большое окно своей спальни, она смотрела на расстилавшуюся перед ней долину, залитую волшебным лунным светом. В струях этого света вершины деревьев как будто горели зеленым пламенем; остальное исчезало в загадочной тьме. Вдали по временам между зубцами гор вспыхивала молния. В окно врвался душный, теплый воздух, напоенный благоуханиями неизвестных цветов. Молодая душа Рикильды была взволнована всевозможными чувствами, сердце страстно билось, уста пылали, а влажные глаза чего-то искали то здесь, вблизи, среди этих медленно колеблющихся деревьев, то там, за долиной, среди неподвижных гор...

Отдаленные звуки охотничьего рога и завывание собачьей своры неожиданно коснулись ее возбужденного слуха... Сначала она подумала, что это только ей чудится, но звуки все приближались, приближались и, наконец, мимо нее, недалеко от стены, пробежала серна, за ней огромные собаки и, наконец, на великолепных лошадях, пронеслась группа всадников. С необыкновенной быстротой и бешенством скакали охотники, несмотря на то, что различные препятствия, затянутые сумерками ночи, на каждом шагу грозили им падением. Никто ничего не кричал и только собаки выли, да протяжно трубили рога.

Все, казалось, были увлечены одной охотой, все смотрели вперед на серну и только один из рыцарей на черном коне, проезжая под окном Рикильды, поднял голову и повернул к ней свое бледное лицо. Прошло одно мгновение, но дочери графа показалось, что лицо охотника приблизилось к ней, и она успела различить его прекрасные черты. Голубые глаза, нежные и страстные и, в то же время, печальные, казалось, изливали целый поток жгучих лучей. Свет луны играл на его полированном шлеме без перьев и, казалось, ласкал золотистые кудри, падавшие из-под шлема.

Он ничего не сказал; он только взглянул своим чарующим взором и проскакал далее. Вся охота повернула куда-то в сторону и вновь показалась уже далее, за лесом. Сер-

на, собаки, всадники мчались с той же невероятной быстротой и затем скрылись в дальнем овраге. Все более и более затихали собачий лай и звук рога. В третий раз показалась охота, но еще и еще далее... Она, подобно змее, быстро извивалась и уползала в горы, сверкая шлемами рыцарей, как чешуей. Неутомимо неслись рыцари на своих удивительных лошадях и, наконец, облака совершенно заволокли эту странную ночную охоту.

С неведомой дотоле сердечной тревогой Рикильда отошла от окна и легла спать, но сон не приходил. Еще раз она встала с постели, заглянув в окно, увидела, что неизвестный рыцарь с золотыми волосами стоит один недалеко от замка и что взоры его устремлены в ее окно. Как он успел вернуться? Откуда он взялся? Со страхом бросилась она опять на постель, но только под утро, когда первые лучи солнца ворвались в ее комнату, она заснула.

Вечером, после обеда, Рикильда отправилась гулять со своими прислужницами на берега Любрегата и здесь долго сидела задумавшись, глядя на кристальные воды речки, сквозь которые видно было ее золотистое дно, и ей казалось, что по этому дну стелятся золотые волосы таинственного рыцаря. Вдруг тихий шум в камыше заставил ее очнуться. Она подняла голову и увидела, что он тут, недалеко от нее, стоит под ивой. Он был прекрасен, как мечта любви.

Встревоженная Рикильда хотела бежать или позвать своих прислужниц, но неизвестный воин остановил ее трогательным голосом:

— О, Рикильда, благородная дочь графов! Не бойся, умоляю тебя! Перед тобой несчастный, которому твоя помощь может быть тем же, что целительный бальзам для ран, полученных в битве.

Рикильда осталась и, увлекаемая неведомым чувством, протянула свою дрожащую ручку, которую молодой охотник тотчас же схватил и прижал к губам. Огонь пробежал по жилам молодой девушки.

— Кто ты? — спросила она, — кто ты, таинственный красавец, и что тебе надо от меня?..

— Не бойся, Рикильда, и узнай, что я по воле небесных сил должен находиться на горе, называемой Монтсерратом, с тем, чтобы ободрять и охранять живущего там отшельника Хуана Гарина, который молитвами и тяжкими испытаниями своего брэнного тела прокладывает себе трудный путь к вечному спасению. Часть этих тягостей ложится на меня, но я остаюсь невидим Хуану Гарину, а равно и всем живущим. Только в мае месяце мне дозволено являться людям с такими же грешными душами, как и я, и охотиться в этих местах.

— О, ужас! — воскликнула Рикильда, отскочив от рыцаря. — Значите, ты дух, а не человек?!

— О, не бойся и выслушай меня до конца... Прежде я был славным вождем и мои готы звали меня Свиндбальдом, т. е. ловким и отважным, но за одно убийство я был наказан так, как я говорил тебе. Уже давно длится мое испытание и в награду за мою верную службу при отшельнике мне обещано, что я буду опять обращен в смертного, если встречу молодую и прекрасную девицу, которая согласится девять дней прожить и молиться в пещере Хуана Гарина. Тогда я опять сделаюсь Свиндбальдом, каким был прежде. Ты одна, прекрасная и чистая Рикильда, можешь спасти меня. Сделай же это, ступай на Монтсеррат и через девять дней возрожденный Свиндбальд явится перед тобою...

После непродолжительного колебания добрая Рикильда обещала исполнить его просьбу и быть его девой-спасительницей. Свиндбальд поблагодарил ее, преклонив колено, и затем удалился, последний раз взглянув на нее своими нежными и умоляющими глазами. По возвращении домой Рикильда объявила своему отцу, что ее мучит злой дух и что она должна удалиться на девять дней на пустынный Монтсеррат и там под руководством святого отшельника искупить свои грехи молитвой и постом.

Сначала граф увещевал свою дочь отказаться от ее намерения, говоря, что ей будет тяжело вынести такую эпитимию, но, видя ее непреклонность, наконец согласился и, в сопровождении нескольких воинов и слуг, отправился с Рикильдой на Монтсеррат.

На следующий день граф и его дочь прибыли к подножию Монтсеррата. Последний раз Вифредо при виде грозной и мрачной горы пробовал отговорить Рикильду, но напрасно! На уступе одной из скал она увидела рыцаря с золотыми волосами и смело погнала свою лошадь по крутой тропинке, не слушая увещаний отца.

Дорога становилась все круче и круче, по бокам открывались глубокие обрывы. Рыцарь показался Рикильде еще раз, гораздо выше, между утесами, у входа в пещеру, бросая свой чудный взгляд на замороженную им девушку. Наконец граф и Рикильда поднялись наверх. У входа в пещеру их встретил отшельник сурового вида, в грубой шерстяной одежде. Хуан Гарин давно уже не слышал в этих диких местах людских голосов и конского ржания. Граф почтительно ему поклонился и, объяснив причину их посещения, просил отшельника принять Рикильду на девять дней, помочь ей святыми советами и вообще утвердить ее в добродетели.

Долго не соглашался Хуан Гарин, но наконец сдался на упорные мольбы отца и дочери... Рикильда осталась, а граф отправился в Монистрольский замок, находившийся недалеко, и там в тревоге ожидал окончания испытания.

Весь день Гарин провел с молодой красавицей в духовных беседах и в молитве. Рикильда слушала его внимательно, но, когда наступили сумерки, утомленный Гарин почувствовал неведомое волнение и несколько раз прерывал свою «Ave Maria», чтобы бросить смущенный взгляд на дочь графа, которая безмолвно стояла на коленях и смотрела с восхищением куда-то в темный угол... Наконец, поздно ночью оба заснули.

На рассвете Гарин встал с предчувствием чего-то недоброго и недовольный тем, что сдался на просьбу графа.

Помолившись довольно невнимательно и бросив мимоходом невольный взгляд на спящую девушку, он отправился к своему соседу с седой бородой, к которому последнее время питал более доверия, чем прежде.

Гарин рассказал ему о неожиданном появлении молодой девушки и затем просил дать мудрый и благочестивый

совет, что делать в подобном затруднительном случае. Почтенный старец прежде всего спросил Хуана — точно ли наружность Рикильды столь прекрасна, что может внушать серьезные опасения.

Хуан еще не думал о красоте ее, но от вопроса старика его сердце болезненно затрепетало, и он беспокойным голосом и в бессвязных выражениях описал Рикильду.

— Любезный брат, — сказал тогда, нахмурившись, старец, — я вижу теперь, что действительно Господь посылает тебе большое испытание... Надо его выдержать. Знай, что чем тягостнее будет борьба, тем слаще покажется тебе победа над грешным телом, когда, наконец, молодая красавица тебя покинет, а благотворное одиночество вернется в твою темную келью.

Укрепленный мудрыми советами друга, Гарин поспешил в свою обитель, но по мере приближения к ней мучительное сомнение стало охватывать его душу: точно ли ему будет так сладко, когда эта живая роза Каталонии его покинет?

Сделав большое усилие над собой, он остальную часть дня посвятил девушке, наставляя ее в правилах религии.

Вторая ночь была еще тяжелее первой, а на третью он не только перепутал слова молитв, но забыл их вовсе и ворочался в бессонных мучениях на своем грубом ложе, шепча вместо «*Virgen Maria*» имя Рикильды. Мрак ночи как будто отдалял его от божества, и он стал бояться мрака, как невидимого врага.

На пятую ночь страшная гроза разразилась над Монсерратом, такая гроза, какой никогда не видали морщинистые его утесы. Клубящиеся облака покрыли все вершины, затянули ущелья и все почернело. Молнии рассекали воздух и после их вспышек казалось еще темнее. Дождь лился потоком и сквозь шум воды то и дело раздавались жестокие удары грома. Порывом ветра затушило светильник в пещере и вслед за тем все кругом затряслось и загрохотало с необыкновенной силой; сквозь необъятный голос бури, чудилось, долетал торжествующий, победный хохот демонов. Смертельно перепутанная девушка бросилась на ложе мо-

наха и, обняв его дрожащими руками, старалась на груди его найти защиту. Напрасно Гарин пробовал отстранить ее; напрасно в отчаянии он искал четки в складках своей рясы; четки куда-то упали. Воздух кругом его пылал, но еще более жгучее пламя охватило его сердце; в душе же свирепствовала буря еще более лютая, чем в горах.

Тело победило душу; бедный отшельник не выдержал испытания и погиб...

В отчаянии бросился Хуан Гарин из пещеры. Ни мрак, ни гроза, ничто не могло остановить его. Весь мокрый, с израненными ногами, он прибежал к обители своего друга. Тот, казалось, спокойно и безмятежно спал.

— Брат! — воскликнул Хуан Гарин.

Анахорет поднялся и сурово взглянул на Гарина.

— Брат, — повторил Гарин, — страшная ночь над нами. Гроза гремит кругом, но еще ужаснее буря в душе моей; с грохотом валятся утесы, увлекаемые потоками в черные пропасти, но моя душа еще чернее их... Брат! В моей пещере лежит девушка, обесчещенная злодеем.

Старец сурово отшатнулся от него.

— О! не проклинай меня, — воскликнул в отчаянии Гарин, падая на колени и склоняясь перед старцем, — буря погубила меня, она бросила ее в мои объятия... Дай мне совет, брат! Что я должен делать? Должен ли я в наказание броситься в пропасть? Должен ли я закрыться навсегда в своей пещере и умереть там от голода и жажды? Что я должен делать?!..

— Несчастный безумец, — раздался глухой голос старика в темной пещере, — разве ты не знаешь, что самоубийство есть самое тяжкое из преступлений?.. Ты должен теперь скрыть свой грех; огласка его ляжет позорным пятном на всех монахов. Как уста должны быть темницей для языка, так могила — хранилищем тайны. Она скроет твое преступление так же, как вода смывает пролитую кровь.

И затем, подавая ошеломленному Гарину острый нож, почтенный старец прибавил:

— Иди!.. Утром я с тобой увижусь... Ров, который выроешь для нее и засыплешь землей, сгладится благодаря буре и

днем ты сам не найдешь этого места.

Хуан, как безумный, схватил нож и бросился бежать между скалами в свою пещеру, Рикильда без чувств лежала распростертой на каменном ложе монаха. Не говоря ни слова, Гарин нанес ей смертельный удар в ее белую шею и, когда она умерла, понес ее и бросил в небольшую яму, замеченную им еще прежде недалеко от часовни. Там он забросал ее камнями и засыпал землей. Его ужасная работа уже подходила к концу, когда он услышал насмешливый адский смех... Перед ним стояли пустынный и воин; они преобразились в демонов и исчезли. Начало светать, улеглась буря, между верхушками деревьев показалась утренняя звезда, заблестали мокрые утесы при первых лучах солнца... С горькими слезами и с отчаянием в сердце Гарин склонился над могилой убитой им девушки...

Далее хроника рассказывает, что Хуан отправился в Рим. Там он бросился к ногам папы, исповедался ему во всем и молил о прощении.

Святейший папа нашел, что преступление столь велико, что и искупление должно быть тяжкое. Поэтому Хуан Гарин по приказанию наместника св. Петра должен был вернуться обратно на Монтсеррат на четвереньках, как животное; хранить вечное молчание, не смотреть на небо и питаться травами и все это до тех пор, пока младенец пяти месяцев не объявит ему, что он прощен небом.

Хуан Гарин в точности исполнил повеление папы и вернулся на Монтсеррат на четвереньках и там продолжал звериную жизнь, питаясь травами. Одежды его постепенно распались в лохмотья, обнаженное тело обросло волосами, и он потерял совершенно человеческий образ. В таком виде однажды нашли его охотники и, привязав его за шею на веревку, притащили во дворец Вифредо. Граф после таинственного исчезновения своей дочери очень часто охотился на Монтсеррате, разыскивая следы своей милой Рикильды. В этот день Вифредо давал пир своим гостям и по просьбе последних велел ввести пойманное животное в залу. Графиня держала в это время на руках своего младенца-сына. Все молчали несколько мгновений при виде чудовища,

походившего на человека. Вдруг сын графа, к всеобщему удивлению, прервал молчание словами: «Встань, встань, Хуан Гарин! Господь прощает тебе твой грех»... Тогда Гарин выпрямился и затем, упав на колени перед графом, открылся ему в своем преступлении.

Ввиду совершившегося чуда, Вифредо не мог отказать в прощении бывшему отшельнику и, взяв его проводником, отправился разыскивать могилу дочери.

Хроника еще говорит, что когда открыли могилу, то, к еще большему удивлению, Рикильда предстала всем присутствующим жива и невредима. Только на шее у нее остался красный след от ножа.

После того Вифредо велел выстроить около часовни Монтсерратской Девы монастырь, поместил здесь несколько бенедиктинок из одного барселонского монастыря, назначил свою дочь его настоятельницей, а Гарина управителем...

БЕРЕМУНДО РЫЖИЙ

После смерти графа Сениофредо, повелителя Каталонии и Барселоны, престол должен был перейти к его младшему брату Олива Кабрете. Прозвище «кабрете», что значит «козленок», было дано ему потому, что он хромал и страшно заикался, так что не мог сказать одного слова, не издав целый ряд звуков, напоминающих бление овцы. Бароны и разные другие почетные люди считали Олива неспособным к правлению и прислали в Барселону его двоюродного брата — Рамона Борреля, урхельского графа. Граф Боррель впоследствии прославил каталонское оружие войной с Альманзором.

Не все, однако, добровольно признали права нового графа. Приверженцы Борреля, составлявшие большинство, принадлежали к числу наиболее благоразумных патриотов, же-

лавших сильной власти, и опасались внутренних беспорядков; к ним примкнули и все граждане. Но были и такие сеньоры, которые объявили Борреля незаконным, требовали возведения на престол Олива и не явились в Барселону к торжественному дню избрания.

Мудрый и спокойный Боррель, занятый войной с маврами, временно отложил вопрос о подчинении и наказании мятежных вассалов.

В числе недовольных, не признававших Борреля, был Беремундо Рыжий, незаконный сын графа Гильермо.

У Гильермо был еще другой сын, законный, Бернардо. Незадолго до смерти отца, этот Бернардо, достигнув совершеннолетия и выдержав воинское испытание, то есть показав, что он умеет управлять конем и владеть оружием, оставил родительский дом и уехал на север, отказавшись даже взять с собой слуг, как это подобало благородному рыцарю. Напрасно отец убеждал его не уезжать, ссылаясь на свои преклонные годы; Бернардо остался непоколебим и хотя почтительно, но настойчиво упрямил графа отпустить его.

Старый граф не делал внешнего различия между своими сыновьями. Им оказывался одинаковый почет и было дано одинаковое воспитание, но по мере того, как они росли, все более и более обнаруживалась разница в их характерах и наружности.

— Беремундо, — говорил графу духовник, — рожден вне брака, т. е. в преступлении, и я боюсь, чтобы в нем не проявилось наказание Божие за ваш грех...

Бернардо был добрый и способный юноша. Его прекрасная наружность вполне соответствовала его внутренним качествам. Благородная душа отражалась в кротких чертах его лица.

Беремундо был зол, завистлив и неукротимо страстен. Его душа постоянно была напоена ненавистью. Он ненавидел своих учителей, своего отца, своего брата — всех и любил только свое тело. Напрасно Гильермо старался его исправить увещаниями, а иногда наказаниями: они не вели ни к чему. Старый граф в сокрушении сердца говаривал тогда, что в его семье живут рядом агнец и ядовитая змея и

что только родство крови препятствует ему изгнать Беремундо из-под родительского крова. Наружность его тоже соответствовала душе и с годами стала еще более отталкивающей. Узкий, всегда нахмуренный лоб, огромный толстый нос и рыжая всклокоченная борода придавали ему совершенно злодейский вид. Сложен он был крепко, но не стройно, и только одни большие зеленые глаза благодаря своему блеску были бы хороши, если бы не страшный огонь, который горел в глубине их и предвещал несчастье всякому, на кого падал их взор.

Невыносимый характер Беремундо был одной из причин отъезда его брата. Бернардо не мог выносить его злобы и жестокого обращения со слугами. То, что он видел с ранних лет в родном доме, поселило в нем негодование против всякой несправедливости и, решив, что только тяжелыми испытаниями можно заслужить себе право быть господином других, он отправился на север, дав обет оказывать помощь и защиту всем слабым и угнетенным.

Прошло пять лет, а о молодом страннике не приходило никаких известий. Три раза огорченный граф посылал самых верных слуг за Пиренеи, но они не только не принесли ему никаких вестей, но даже не вернулись из своего путешествия. Наконец, граф, удрученный болезнями и горем, умер, и Беремундо вступил в управление всем Монтсерратом и Кольбатом.

Водворившись в наследственных замках, Беремундо уехал на несколько времени воевать с сарацинами. В его отсутствие его вассалы дышали спокойно, но свое возвращение он ознаменовал целым рядом несправедливостей и жестокостей. Окрестные селения изнывали от всяких поборов и оскорблений. Беремундо любил деньги и в особенности женщин. Если ему приходилось встретить красивую девушку, то он преспокойно ее увозил к себе в замок и по истечении семи дней возвращал ее к родителям уже обещанной. Однажды у источника, расположенного близ дороги в Кольбат, он увидел девушку замечательной красоты. Без долгих разговоров он схватил ее к себе на седло и увез, несмотря на слезы и крики. Девушка была дочь старшины;

напрасно возмутившийся народ требовал ее возвращения. Он поступил с ней так же, как и с предыдущими, и еще жаловался, что взял себе жену без приданого. Чтоб возместить свои потери, как он говорил, он приставил к общественному источнику, у которого встретился с девушкой, двух часовых и приказал им взимать известную плату с каждого, кто зачерпнет из него воды. Собираемые таким образом деньги он называл приданым.

Между тем, один странствующий монах умер от жажды около источника, не имея чем заплатить за воду. Тогда источник вдруг иссяк и единовременно открылся новый — около часовни св. Девы; народ прозвал его «чудесным».

Беремундо, однако, не обратил внимания на это предостережение Божие, а все более и более погрязал в преступлениях. Через год, после его возвращения из похода на сарацинов, в окрестностях Монтсеррата появилась шайка разбойников. Эта шайка скоро стала истинным бичом населения. Когда наступал вечер, все одинокие и невооруженные, а в особенности прекрасные девушки спешили скорее вернуться в свои дома и хижины, чтобы не встретиться в глухом месте с кем-нибудь из беспощадных бандитов. Пастухи передавали, что эти разбойники свили себе гнездо в старом замке, находившемся в одном из самых неприступных мест Монтсеррата, а один охотник видел ночью красный свет, падавший из окон этого замка, и слышал грубые ругательства и проклятия пьяных голосов...

Мало-помалу в населении стал распространяться слух, что во главе шайки грабителей стоит сам «кастильано», т. е. владелец замка, тем более, что он не предпринимал никаких мер против разбоя. Так это и было на самом деле. Развратный и неукротимый граф набрал себе стражу из отъявленных негодяев, не имевших в душе ни совести, ни Бога; тут были и беглые убийцы, и клейменные рабы, принятые им под покровительство, и ренегаты-сарацины, с которыми он делил награбленную добычу.

...Была сумрачная зимняя ночь. Холодный, пронизывающий ветер завывал в ущельях Монтсеррата. Небо было покрыто тучами, и мелкий холодный дождь кропил землю. Все, казалось, было уже погружено в сон, кроме грозного замка. Сквозь холщовые окна второго этажа вырывались колеблющиеся красные снопы света от нескольких факелов, которыми была озарена большая зала. В огромном камине, украшенном сверху щитами и копьями, горело целое дерево, распространяя кругом себя жар и треск горящих сучьев

За большим дубовым столом сидел сам Беремундо, окруженный своими лейтенантами и воинами. Слуги разносили жареную дичь; в кубки и чаши лилось старое вино. Пир был в полном разгаре. Грубый хохот и непристойные речи и песни, распеваемые под звуки струн, оглашали стены замка и этим звукам как бы вторило завывание бури. Сподвижники Беремундо имели вид, далеко не внушавший доверия, в своих заплатанных кожаных кафтанах, на поясах их висели большие кинжалы и мечи, а через плечи были переброшены цепи для подвешивания арбалетов, которые тут же были прислонены к стене. Кругом, в беспорядке, валялись железные каски. Сам граф имел вид, достойный вождя этих разбойников. Густая рыжая борода и косматые волосы представляли странный контраст с малиновым цветом его кафтана, украшенного драгоценной цепью. Глаза, и без того мрачные, теперь от выпитого вина светились зловещим огнем.

Уже неоднократно он осушал кубок за здоровье своих подчиненных, как вдруг налетел порыв бури, выдувая искры и клубы дыма из камина, и ветер громко и дико завыл в трубе.

— Клянусь сатаной, — воскликнул граф, — никогда не было такой подходящей погоды для нашего пира! Пусть шумит буря и да процветают страсти, вино и женщины!..

— Пусть себе шумит, — повторили гости, выпив свое вино. — И да погибнет самозванец Боррель!..

— Я слышал, что у него красивая дочь... Пусть задушит меня демон своими лапами, если я не украду ее в один прекрасный день...

Подумав несколько времени над вновь налитой чашей, граф сказал:

— Если мы победим Рамона Борреля, я отдам вам весь его лагерь... Мало того: я еще отдам добычу целого месяца тому, кто мне приведет из-за гор белокурую красавицу, которую я видел сегодня во сне...

Все расхохотались странному предложению графа, но в это время вошел черный слуга и доложил, что часовой на стене услышал стук в ворота и что двое странников просят-ся в замок.

— Это, наверно, монахи, которые никак не могут добрести до своего монастыря... Сегодня день прощения... Покажем им милость. Впустить и накормить!..

Прошло несколько минут, затем раздался звон шпор и в открытой двери зала показался высокий и стройный мужчина с черной бородой... По его одежде, хотя и измокшей под дождем, и по его благородному виду можно было признать в нем господина высокого происхождения. За ним скрывалась в тени другая фигура, поменьше ростом.

— Кто ты, — спросил Беремундо, — как зовут тебя и твоего странника, чтобы я знал, кого я принимаю в своем замке, унаследованном нами после смерти Гильермо Монтсерратского?

— Беремундо! — воскликнул тогда вошедший, бросившись с открытыми объятиями к столу, — это я, твой брат — Бернардо...

Несколько мгновений Беремундо ничего не мог ответить, пораженный удивлением.

Потом, холодно обняв брата и стараясь придать своему злому лицу ласковое выражение, он сказал:

— Ты так долго пропадал без вести, что я уже стал считать тебя мертвым... Хорошо, что я не люблю монахов, а то бы мне пришлось разориться на заупокойные обедни...

— Любезный брат, я сначала дрался под знаменами французского короля, а потом, когда меня посвятили в ры-

цари, я долго странствовал, всюду соблюдая данный мною обет поднимать оружие только за правое дело, на защиту слабых и угнетенных...

— Ну, об этом ты мне расскажешь завтра... Представляю тебе моих товарищей... Это все храбрецы и такие же охотники, как я... Ты приехал как нельзя кстати... Позови же сюда своего спутника... Что он там прячется в тени и дрожит, точно женщина?

— Ты не ошибся, Беремундо!.. Это — женщина и эта женщина — моя супруга... Не бойся, Берта!.. Подойди к столу и подай руку моему брату...

Берта вышла из тени и приблизилась к столу, бросая испуганные взоры на пьяных товарищей Беремундо, смотревших на нее в свою очередь с наглым любопытством. Бернардо снял с нее намокший плащ, и Беремундо невольно воскликнул от восхищения.

Густые белокурые волосы обрамляли прелестное лицо, слегка загорелое от дальнего пути; нежный румянец, подобно утренней заре на чистом небе, играл на ее щеках, а в больших голубых глазах светились доброта и нежность.

— Клянусь моей жизнью! Вы недаром проехали за Пиренеи, любезный брат! Недаром, как вы выражаетесь, вы защищали угнетенную невинность... Да, вы всегда были умнее меня... Что значат мои победы над маврами, дорогие брони, клинки, золото, отнятые у врагов, в сравнении с графинею Бертой?.. Это действительно драгоценная добыча! Из-за нее стоило съездить на север. Удивляюсь, что по дороге никто у вас ее не отнял...

— Напротив того, во всех замках Франции я находил ласковый прием и покровительство, а в глухих местах я и мой верный конюший не раз счастливо отбивались от злодеев благодаря покровительству св. Георгия...

— Ну, хорошо... Приветствую тебя в замке наших предков! Ты, вероятно, голоден и устал?

Затем Беремундо усадил брата и его жену рядом с собой. Ужин окончился скоро и молчаливо. Берта почти ничего не ела, чувствуя на себе тяжелые взгляды странных людей, в общество которых она попала. Затем Беремундо

приказал проводить вновь прибывших в назначенные им покои.

Бернардо и Берта удалились; черный слуга с лампой пошел вперед и, пройдя целый ряд коридоров, они спустились по круглой лестнице в обширную комнату; повесив на крючок железную лампу и указав на два изготовленных ложа, негр молча поклонился и ушел. В тени под высокими потолками носились беззвучно летучие мыши, ветер шумел в бойницах. В одном из концов залы было сложено всякого рода оружие: шлемы, щиты разных форм, кольчуги, охотничьи ножи, арбалеты, копья. Колеблющийся свет лампы скользил по ним и в темноте блистал то один, то другой предмет. От ветра, врывавшегося в плохо припертые двери, все это вооружение издавало зловещий гул.

— Что это за комната? — спросила Берта, со страхом озираясь и прижимаясь к своему мужу,

— Не помню, — ответил Бернардо, снимая свой меч.

— Мне страшно, — сказала Берта. — О, зачем ты оставил нашего верного слугу в селении?..

— Он хотел повидаться со своей семьей...

— О, зачем его здесь нет с нами? Он никогда не покидал нас в дороге... Мне страшно, Бернардо!

— Глупая! Чего ты боишься? Разве ты здесь не в наших владениях?.. Разве мы не находимся под защитой моего брата?...

— Нет, Бернардо! Это не брат тебе! Вчера я видела во сне лютого зверя, который бросился на тебя... Глаза его горели страшной злобой, и эти глаза были такие же, как у Беремундо... А его друзья-охотники? Они ужасны! Мне страшно, Бернардо! Кто это?!..

— Успокойся, моя милая! Буря и утомление расстраивают тебя... Никого нет здесь... Только ветер играет железом и медью.

Бернардо уложил спать трепещущую Берту и, нежно поцеловав ее, потушил лампаду...

В комнате воцарилась почти непроницаемая тьма, из которой по-прежнему доносилось зловещее бряцание оружия и вой ветра, носившегося по коридорам замка. Долго Бер-

та глядела в эту таинственную тьму, и ей казалось по временам, что в этой тьме появлялись фигуры еще более черные и исчезали; наконец, усталость и вино, выпитое по настоянию Беремундо, победили страх, и она заснула...

Холод и странный свет пробудили ее уже на крутой и сырой лестнице... Двое здоровых и полунагих раба несли ее на своих мускулистых руках, предшествуемые черным слугой.

Красный огонь лампы освещал небольшое пространство впереди, оставляя позади тьму, и казалось, что эта тьма, как земля могилы, навсегда закрывала обратный выход. Сон был до того ужасен, что Берта очнулась уже второй раз в сыром и темном подземелье. Она лежала на деревянной скамье, а перед ней, скрестив руки, стоял черный слуга.

— Где я? — спросила Берта, вскочив.

— Мой господин, граф Монтсеррата и Кольбатто, приказал спросить — желает ли Берта, дочь Севера, удостоиться высокой чести и принять его руку и сердце?

— Странные слова говоришь ты, низкий раб! Разве не знает твой господин, что я уже замужем?..

— У Берты, дочери Севера, больше нет мужа...

Вопль отчаяния вырвался из груди Берты. Она побледнела как смерть и склонила голову на изголовье скамьи.

— Берта останется здесь до тех пор, пока не согласится связать свою судьбу с судьбой моего повелителя. С помощью этой веревки ей будет спускаться сверху пища и питье и каждый день будут ее спрашивать — согласна ли она отдать свою любовь Беремундо, благородному и могущественному владельцу этих мест.

И, сказав эти слова, негр удалился, оставив несчастную женщину наедине с ее горем.

Твердый дух и преданность пробудились в сердце дочери Севера. Она видела, что счастье для нее окончилось, и, решившись погибнуть, молила Бога только о том, чтобы Он дал ей возможность плакать и слезами смягчить свое горе.

Каждый день веревка, спускавшаяся сверху, колебалась и один и тот же голос спрашивал:

— Берта, решила ли ты полюбить Беремундо, благородного повелителя Монтсеррата?...

Каждый день трижды повторялся этот вопрос и, оставаясь без ответа, голос умолкал.

С каждым днем Беремундо становился все сумрачнее и сумрачнее. Лицо его пожелтело, глаза ввалились и то сверкали, как у волка, то туманились подобно ущельям Монтсеррата. Свирепая любовь кипела в его сердце. Но еще другая беда грозила страшному графу.

На седьмой день после роковой ночи, когда он, поправ священные законы гостеприимства и кровные узы, связывавшие его с Бернардо, приказал умертвить его, — на седьмой день протяжный звук военной трубы раздался у ворот его замка. Выглянув в окно, Беремундо увидел несколько всадников, одетых в богатые мантии; на шлемах их развевались черные перья, а по вышитым на груди их золотым львам Беремундо узнал послов Района Борреля. Приказав открыть ворота, Беремундо одел самый пышный кафтан и, окруженный своими лейтенантами и пажами, надменно встретил послов на крыльце замка.

— Беремундо, — сказал старейший из них, — наш могущественный повелитель, граф Рамон I, признанный сеньорами и гражданами государем Барселоны и всей Каталонии, да продлит Господь его лета, обвиняет тебя в неоказании ему должного почтения (*bausia mayor*). Посему приказывает тебе не позже, как через три дня, явиться в Барселону с изъявлением покорности и с ключами от твоих замков.

Беремундо засмеялся и сказал с иронией:

— Три дня! Ваш граф дает мне слишком много времени, чтобы изготавиться к обороне!

— Кроме того, — продолжал старший из посланных Борреля, не обращая внимания на выходку Беремундо, — кроме того, государь обвиняет тебя в жестоком обращении с земледельцами... На тебя жалуются, что ты потворствуешь разбою в окрестностях Монтсеррата... Ты обвиняешься в на-

рушении основных законов страны и правил чести, а по-сему государь приказывает тебе явиться без свиты и без оружия и доказать перед судом свою невинность и свои права, так как, по слухам, твой брат, Бернардо, вернулся в Кольбато, хотя его и не могут найти до сих пор...

— Скажите вашему графу, — воскликнул Беремундо, с бешенством вскочив с своего места, — что он никогда меня не дожидется в Барселоне!.. Скорее Монтсеррат треснет еще раз, чем ему удастся овладеть моим замком... Уходите же скорее! Иначе я не поручусь, что вы через минуту не будете висеть на зубцах этой стены... Вот мое последнее слово...

Послы удалились, и через несколько дней после этого разнесся слух, что Рамон Боррель собирает войско с целью двинуться на непокорных баронов, и что в числе первых будет наказан Беремундо Рыжий.

Беремундо усилил свои гарнизоны и укрепился.

Вскоре затем прискакал вестник с донесением, что Рамон действительно двигается с большим отрядом испытанных воинов и что в обозе везут осадные машины: требующие для метания камней, длинные арбалеты на колесах и большие деревянные щиты для прикрытия лучников. С своей стороны, Беремундо решил отчаянно защищаться против ненавистного Района и, чтобы узаконить свой мятеж, велел вывесить на донжоне (главной башне) знамя с именем и гербом Олива Кабрете.

Когда отряд Борреля был в одном переходе от замка, Беремундо призвал негра и спросил:

— Ну, что эта женщина?

— Молчит по-прежнему...

— Ступай и повтори ей последний раз мое предложение и скажи ей, что это в последний раз.

Слуга поклонился и через несколько времени принес опять отрицательный ответ. Лицо Беремундо стало еще страшнее. Помолчав несколько времени, он сказал:

— Ты видишь вон эту скалу... Она висит над рекою и Льобрегат под нею более глубок, чем в других местах... Я буду стоять у этого окна и увижу все... Поспешь же!.. Во время войны дети и женщины лишняя обуза... Ступай!

Черный слуга немедленно отправился к Берте, которая лежала на скамье, изнуренная страданиями и горем, поднял ее своими сильными руками и снес ее на край скалы. Здесь она лежала несколько мгновений, ничего не понимая, ослепленная светом дня, падавшего на нее с голубого неба, пока негр привязывал к ее поясу тяжелый камень. Ветер играл ее белокурыми волосами... Беремундо стоял у стрельчатого окна своей донжоны и смотрел своими острыми зелеными глазами на скалу. Вдруг раздался протяжный женский крик, и вместе с ним вопль ужаса и бешенства. Черный слуга зацепился в веревке и полетел в пропасть вместе с своей жертвой...

Высоко всплеснула вода в реке и все исчезло.

— Одним свидетелем меньше, — глухо сказал Беремундо, — тебе легко было это сделать, черный дьявол! Жаль, что ты не утопил вместе с нею мое сердце...

В ночь после этого преступления Беремундо потушил огонь в своей спальне и собирался заснуть; вдруг тихо и глухо зазвенел его большой щит, комната наполнилась таинственным полусветом и перед удивленным графом явилась белая фигура женщины с неподвижно устремленными на него глазами. Это была Берта. С большим трудом вскочил Беремундо с своего ложа. Видение исчезло, но лишь только он лег опять и закрыл глаза, как почувствовал, что чьи-то холодные руки его будят. Он вновь открыл глаза: перед ним в лучах неизвестно откуда падающего света опять стояла Берта и смотрела на него. В ужасе Беремундо крикнул слуг, велел зажечь огни и при свете их провел бессонную ночь.

На рассвете, чтобы возбудить мужество в своих воинах, в ожидании скорой битвы, Беремундо объявил им, что сегодня ночью он задаст им такой пир, какого они никогда не видали... Сподвижники Беремундо отвечали на это возгласами дикого восторга.

Беремундо Рыжий сдержал свое слово. Он приказал своим слугам нарядиться в самые дорогие платья, засветить множество факелов и ламп в зале пиршества, чтобы не оставалось в ней ни одной щели неосвещенной, выставить на стол самое старое вино из погребов и всю награбленную им драгоценную посуду. Лучшие музыканты играли на бандурах и на арфах и пели песни. Разбойники, а во главе их Беремундо, пили до бешенства, оглашая воздух грязными восклицаниями и богохульством. Прошла ночь и первые лучи зари окрасили небо в цвет опала. В зале стало душно от чада и от винных испарений и граф приказал открыть окно, и только что открыли окно, как вместе со свежей волной воздуха раздались отдаленные удары монастырских колоколов. Это были звуки печальные, но ясные и чистые, как горный воздух. Голос колокола присоединился к пьяным голосам разбойников, раздаваясь среди них, как голос Бога в аду. Невольно все остановились, прислушиваясь к нему, бурное веселье прервалось, печаль повеяла своими крыльями на эти зачерствелые и буйные сердца.

— Эй, — крикнул Беремундо, ударив своим могучим кулаком по столу, — вина сюда еще, побольше вина! И песен, громких песен и побольше песен!

И вновь полилось вино и вновь раздались из охрипшего горла певцов непристойные песни. Окно было закрыто и в залу только едва доносились заглушенные звуки колокола и, наконец, замолкли. Но вот распахнуло ветром ставни в стрельчатом окне и вновь зала наполнилась звуками; на этот раз это был погребальный звон; в монастыре, очевидно, молились за упокой души кого-нибудь...

— Звонят о мертвецах, — воскликнул Беремундо хриплым голосом, изменившись в лице, — так выпьем же за мертвеца!

И он поднес к устам дрожавшей рукой кубок и зубы его застучали о его края...

Все выпили, но никто не повторил тоста, а чей-то голос сказал: «Вчера волны Льобрегата выкинули на берег труп белокурой красавицы»...

Лицо Беремундо перекошилось, глаза иступленно за-сверкали и, вскочив с своего места, он протяжно крикнул, как бы прислушиваясь к отдаленным звукам: «Бер-та! Бер-нар-до!!» И колокола, казалось, зазвонили ему в такт, как будто стараясь выговорить только что произнесенные имена.

Тогда, зажав себе уши и страшно изогнувшись, Беремундо опять крикнул: «Берта! Бернардо!», и опять колокола, но уже отчетливее, повторили имена его жертв. Волосы стали дыбом на голове злодея, глаза, казалось, хотели выскочить из орбит. Разбойники шарахнулись в стороны при ужасном виде своего господина. Схватив огромный кубок и проливая дрожащей рукой вино на пол, Беремундо бросился бежать вон из замка. Он бежал без оглядки, неизвестно куда, с невероятной быстротой и силой взбираясь на скалы по отвесным почти тропинкам, потом сбегая по ним вниз, и всюду неумолимо преследуемый медным голосом колоколов. Так бежал он часа два, пока, наконец, не очутился перед воротами старинного замка. Он не узнал его, хотя это был его собственный замок. Вбежав в ворота, он поднялся по лестнице внутрь дома, оттуда — на крыльцо, с крыльца спустился в сад и, углубившись в него, набрел на небольшую часовню, в которой теплилась лампада перед распятием Христа. Но и здесь, в этой тихой обители, неумолчно выбивал колокол имена брата и его жены, раздирая душу и сердце обезумевшего Беремундо. В отчаянии упал он на могилу своего отца и прижал пылающий и окровавленный лоб к холодной плите... Но и оттуда, из-под плиты, глухой могильный голос повторял все те же слова: «Берта! Бернардо!»

— Граф! Вставайте! Воины ждут вас. В смятении они не знают, что делать... Слышите ли звуки труб? Это Рамон Боррель подступил к замку...

— Вставайте, граф, придите в себя! Солдаты Рамона пускают в нас тучи стрел и камней! Спешите скорее на стены!..

— Господин! Спешите или будет поздно!.. Воины Рамона уже тащат лестницы для приступа и впереди несут освященную хоругвь с золотым львом!.. Надевайте доспехи! Пусть раздастся ваш боевой клич!

Тогда Беремундо Рыжий очнулся. Он окинул померкшим взором своих лейтенантов, но вместо брони приказал принести поскорее грубое монашеское платье. Ничего не понимая, воины подали ему рясу капеллана, думая, что он все еще находится в состоянии умопомешательства, в котором неожиданно бежал из залы пиршества. Надев рясу и храня суровое и величественное молчание, он прошел через ряды своих мрачных сподвижников на наружный двор и приказал открывать ворота.

Немедленно ворота были заняты воинами Борреля и сам граф со свитой въехал верхом в крепость. Смирненно опустившись перед ним на колени, Беремундо объявил, что добровольно сдает замок, что глубоко раскаивается в своих тяжких грехах и просит, как милости, позволения принять монашество и удалиться от мира.

— Проси у Бога милости, но не у меня, — отвечал Боррель, — я не могу простить такого злодея, как ты... Готовься, готовься, граф Беремундо!.. До заката солнца тебе отрубят голову...

Замок в горах по повелению Рамона был разрушен.

Балагер рассказывает конец легенды иначе. Роман I пощадил жизнь Беремундо, и последний окончил свою жизнь отшельником, скрываясь от людских взоров в одном из подземелий разрушенного замка, которое впоследствии получило название — «cueva del Castellano», т. е. «пещера владельца замка»...

ОБ АВТОРЕ



Алексей Николаевич Маслов, выступавший в беллетристике под псевдонимом Бежецкий, родился в 1852 г. в Варшавской цитадели в семье офицера. По окончании 2-й петербургской военной гимназии и, в 1871 г., Николаевского инженерного училища был выпущен подпоручиком в 1-й Кавказский саперный батальон. Участвовал во 2-м хивинском походе 1873 г. В 1874 г. поступил в Николаевскую инженерную академию. Участвовал в русско-турецкой войне (1877-78). По окончании академии (1879) служил в Одесском военном округе, затем в Петербургском крепостном инженерном управлении. За проявленную храбрость и мужество во время Ахалтекинской экспедиции 1880-81 гг. был награжден золотым оружием.

С 1887 г. преподавал фортификацию в Николаевской инженерной академии, написал ряд трудов по истории осадных и крепостных войн. В 1901 г. получил звание генерал-майора, с 1908 г. генерал-лейтенант. В начале 1-й мировой войны был откомандирован в распоряжение военного министерства, в мае 1917 г. вернулся в академию и в июле вышел в отставку по болезни в чине инженер-генерала. Скончался в Петрограде в 1922 г.

Маслов дебютировал в литературе в 1874 г. как автор юмористический рассказов, в 1884 г. выпустил книгу живо написанных путевых очерков «Путевые наброски: В стране мантильи и кастаньет». В 1885 г. опубликовал книгу военных рассказов «Военные на войне: Святочные рассказы», высоко оцененную. А. П. Чеховым,

затем сборники «На пути: Рассказы и очерки» (1888), «Медвежьи углы: Повести и очерки» (1892). С 1900-х гг. выступал также как драматург и переводчик пьес Тирсо де Молина и Лопе де Вега. После революции для одной из задуманных М. Горьким книжных серий написал пьесу из истории Нидерландов «На заре освобождения» (1919).

Фантастические рассказы Бежецкого, где описывались таинственные сновидения, спиритические явления, астральные тела, колдовство, суккубы и пр., были собраны в сборнике «Неведомое...», выдержавшем в 1914 г. три издания. В настоящее издание этот сборник вошел почти целиком, за исключением трех не представляющих особого интереса сказок. Тексты публикуются по второму изданию 1914 г. с исправлением очевидных опечаток, а также ряда устаревших особенностей орфографии и пунктуации.

Оглавление

Лавка невидимок. <i>Вместо вступления</i>	6
Лишняя комната	13
Разбитое зеркало	21
Искушение (Рассказ о духовидцах)	32
С вечерним поездом	53
Музей восковых фигур	65
Паганини	75
Она	87
Часовой и черт	100
Монтсеррат и его легенды	112
Хуан Гарин	118
Беремундо Рыжий	129
Об авторе	144

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.